

Пим
Вантэчават



ТОЛЬКО
на
ЛИТРЕС

Месяц светит
по просьбе
сердца моего

В переводе Александры Гусевой

月亮代表
我的心

Особняк: современная классика

Пим Вантэчават

**Месяц светит по
просьбе сердца моего**

«Эвербук»

2023

УДК 821.111
ББК 84(5Таи)6-44

Вантэчават П.

Месяц светит по просьбе сердца моего / П. Вантэчават —
«Эвербук», 2023 — (Особняк: современная классика)

ISBN 978-5-00-580653-6

Ева и Томми Ван – близнецы, жизнь которых рушится, когда пропадают их родители. У семьи Ванов есть секрет: все они умеют путешествовать в прошлое, но однажды очередной эксперимент идет не по плану. Потеряв в одночасье обоих родителей, брат и сестра взрослеют, находя поддержку друг в друге, но с годами тайны и недоговоренности начинают нависать над ними черной тучей. Ева становится художницей и пытается наладить связь с давно умершими предками. Томми влюбляется в девушку в Лондоне 1927 года, но возможна ли любовь, если вас разделяет не только расстояние, но и время? Дебютный роман тайской писательницы Пим Вантэчават «Месяц светит по просьбе сердца моего» – завораживающий многослойный роман на стыке привычных жанров: это и исторический роман, переносящий нас в Гонконг и Лондон середины XX века, и необычная семейная сага, и тонкая, лиричная история любви и утраты.

УДК 821.111
ББК 84(5Таи)6-44

ISBN 978-5-00-580653-6

© Вантэчават П., 2023
© Эвербук, 2023

Содержание

Часть первая	7
Джошуа, Лили, Томми и Ева	8
Томми и Ева	13
Джошуа	19
Томми, Ева и Кэрол	25
Джошуа	31
Ева	39
Томми и Пегги	41
Джошуа	50
Томми и Ева	54
Джошуа	58
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Пим Вантэчават

Месяц светит по просьбе сердца моего

© 2023 by Pim Wangtechawat

© Гусева А., перевод на русский язык, 2024

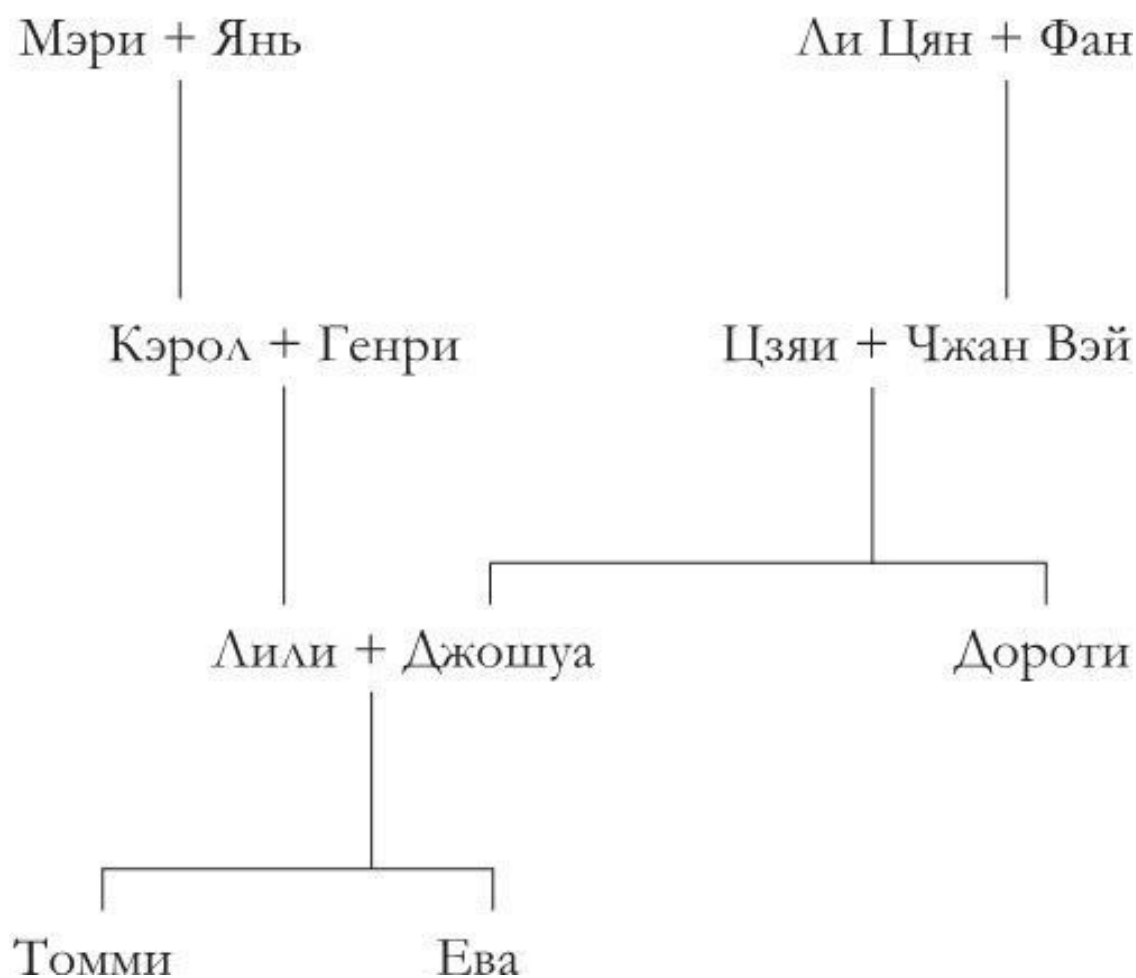
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Эвербук», Издательство «Дом историй», 2025

*Посвящается отцу и дедушкам,
подарившим мне эту историю.
И матери и бабушкам,
благодаря которым она обрела крылья*

*Ты хочешь знать, как глубока любовь моя,
Как сильно я люблю тебя.
Мои чувства неизменны,
Моя любовь – навсегда.
Месяц светит по просьбе сердца моего.*

Тереза Тенг,
«Месяц светит по просьбе сердца моего»

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО СЕМЬИ ВАН



Часть первая

#####

Поначалу всегда нелегко



Все путешественники во времени описывают свой опыт по-разному.

Для Джошуа Вана, ученого и крайне рассудительного человека, это всего лишь «ощущение, будто летишь в темноту» — «колебание» во времени, при котором тело просто отрывается от земли, прежде чем материализоваться в другом месте. Его жена Лили, натура более творческая и романтическая, сравнивала это с чувством, которое испытываешь, впервые осознав, что влюбился: «что-то сродни возбуждению», «выброс адреналина». Словно несешься вниз на американских горках: перепуганный, но невероятно, восхитительно живой. Их сын Томми сравнивал это с изящным футбольным голом: удар влет из-за штрафной площади или крученый из центра поля в момент, когда вратарь оказался вне линии ворот. Его сестра-близнец Ева вообще обходилась без слов. Она предпочитала рисовать: потрясающий закат над подернутым рябью океаном, темные джунгли, полные таинственных теней.

Но, несмотря на эти различия, все путешествующие во времени сходятся в одном: этот опыт всегда сопровождается острым ощущением собственной незащитности. Предчувствием потери. Как говорила Лили, «ты будто держишь в руках что-то ценное, но боишься, что однажды оно выскользнет сквозь пальцы. И, как ни старайся, его уже не вернуть».

Джошуа, Лили, Томми и Ева

1972/2000

В последний раз, когда Ваны путешествовали в прошлое всей семьей, близнецам, Томми и Еве, было по восемь лет. Их отцу Джошуа и матери Лили — по тридцать один.

Они отправились в Гонконг 21 марта 1972 года, чтобы увидеть кумира Джошуа, Брюса Ли, накануне премьеры его фильма «Кулак ярости».

Около пяти часов вечера, в точности как и планировалось, Ваны тихо материализовались в узком, уединенном переулке у отеля «Хаятт Ридженси» в Коулуне — не по очереди, а одновременно, крепко держась за руки.

Они были одеты по моде семидесятых годов: Лили месяцами старательно подбирала одежду, в которой они бы походили на «представителей высшего общества, благополучную китайскую семью, которая будет выглядеть уместно в дорогом отеле».

Некоторое время они стояли, тихо переговариваясь. Родители наклонились к детям — убедиться, что те не бледны, что у них не дрожат руки и ноги. Все-таки путешествовать во времени они начали совсем недавно. Как вы, снова и снова спрашивали Джошуа и Лили приглушенным шепотом. Все хорошо?

Наконец все четверо оказались у входа в отель. По кивку Джошуа они прошли через двойные двери, изображая постояльцев, миновали швейцара, который снял фуражку в знак приветствия, двоих консьержей, стороживших лобби, и направились напрямик в ресторан.

Дети, которым велели вести себя естественно, все время смотрели под ноги.

Сядь прямо, Ева, не горбись, сказал Джошуа, глядя на наручные часы.

Милый, давай что-то закажем, сказала Лили, просматривая меню. Иначе мы будем выглядеть странно. Ты взял деньги?

Конечно, взял.

Можно нам ребрышки, мама?

Да, ребрышки!

И свинину барбекю!

И жареный рис с чесноком...

И еще зеленую фасоль с фаршем...

*Маньтоу*¹!

Тихо, сказал Джошуа. Томми, Ева... мы здесь не для того, чтобы есть. Какая разница, что заказывать?

Лили подняла бровь. Значит, утку ты не будешь?

Утку?

Ты всегда берешь утку...

Мне сейчас не до утки...

Мама, ребрышки... сказала Ева.

Ты всегда берешь утку, *вот я и подумала*...

Томми спросил: а можно нам еще то, что папа привозил из...

Мы берем еду только для вида...

Ребрышки!

Но эту еду нам все равно придется *есть*...

¹ Маньтоу — традиционное блюдо китайской кухни, булочки из дрожжевого теста, приготовленные на пару.

Ну так возьмите гребаную утку!
Тишина.

Лили расправила меню на столе. Ева закрыла лицо руками. Томми уронил палочки, с которыми играл, на пластиковую тарелку, словно они были горячими.

Джошуа, произнесла Лили тоном, в котором читалось: Джошуа, так не пойдет.

Но Джошуа снова посмотрел на часы. Уже скоро, сказал он.

Все посмотрели на дверь. Брюс не появлялся.

Лили, заказывай все что хочешь. Томми. Ева. Джошуа остановил на детях взгляд, под которым Ева густо покраснела, а Томми поежился. Повторите фразу, которой я вас научил.

Дети хором пробубнили себе под нос заученную фразу на кантонском: вы наш кумир, мистер Ли. Мы целыми днями смотрим ваши фильмы. Не могли бы вы дать нам автограф?

Лили фыркнула, откинувшись на стуле и закурила сигарету.

Заметив недовольный взгляд Джошуа, она пожала плечами и сказала: вот за что я люблю семидесятые.

Джошуа снова повернулся к детям. Повторите еще раз.

Вы наш кумир, мистер Ли. Мы целыми днями смотрим ваши фильмы. Не могли бы вы дать нам автограф?

Хорошо. Еще раз.

Вы наш кумир, мистер Ли. Мы целыми днями смотрим ваши фильмы. Не могли бы вы дать нам автограф?

Еще раз.



Подготовка к путешествию заняла почти год, и за это время Джошуа много раз выходил из себя, а Лили выбегала из дома и подолгу гуляла в одиночестве. Томми расплакался четыре раза (он сам вел счет), Ева — лишь однажды, но число случаев, когда они с отцом друг на друга кричали, приближалось к двузначному.

Горы книг, документов, диаграмм и черно-белых фотографий в кабинете Джошуа росли и росли. Каждый дюйм доски в дальней части комнаты был исписан числами и заметками. Окна и абажуры светильников покрывали клейкие листочки с надписями вроде «1971 или 72?», «Что насчет Линды?», «Найти безопасное место для прибытия» и «Рубеж тысячелетий — как повлияет??».

В феврале, за три месяца до путешествия, в гостиной дома, усеянного винтажной одеждой, повесили большой лист бумаги. Вверху красовалась надпись размашистым почерком Лили:

*ГОНКОНГ 1972. БРЮС ЛИ.
ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЯ.*

Остальное было накорябано рукой Джошуа:

Максимальный срок – сутки. Почаще смотрите на часы. О любом недомогании тут же сообщайте маме и папе.

Держитесь вместе. Если потеряетесь, постарайтесь добраться до места прибытия.

В пути ни при каких обстоятельствах не разжимайте руки.

Никому не говорите, кто вы и откуда!

Запомните свои вымышленные имена и следуйте плану!

Близнецов, которые путешествовали в одиночку всего пару раз, заставили вызубрить эти правила слово в слово. Особое внимание уделялось первому. Много лет назад, во время многочисленных совместных экспедиций Джошуа и Лили удалось доказать, что тело может находиться в прошлом ограниченное количество времени, прежде чем начнет отказывать. Детям велели немедленно сообщать о любых признаках болезни — будь то температура, головная боль или даже легкий кашель. Соответственно, каждый вечер субботы и воскресенья вся семья отправлялась на южный берег Темзы «для необходимой физической подготовки», как это называл Джошуа; в действительности это была изнурительная, отнимающая все силы пробежка от Национального театра до театра «Глобус» и обратно. Просмотр фильмов с Брюсом Ли тоже стал частью «образовательного процесса», а уроки кантонского теперь проводились три раза в неделю вместо двух.

Вечером накануне путешествия, уложив детей спать, Лили подошла к мужу, который сидел на полу гостиной; разложенные вокруг него листы бумаги лучами расходились в стороны.

Она налила себе бокал вина (Джошуа отказался от алкоголя много лет назад) и села рядом, втиснувшись в узкое пространство между двумя фотографиями — Брюса Ли и его жены Линды, светловолосой, голубоглазой американки.

У нее завтра день рождения, сказал Джошуа, указывая на Линду.

«Завтра» было 21 марта 1972-го (и 2 мая 2000-го).

Лили нежно погладила лицо женщины: и какой подарок ее ждет — мы.

Это если все пойдет по плану.

Все пойдет по плану, сказала Лили, потягивая вино.

Откуда ты знаешь?

Когда он отвернулся, чтобы записать какие-то расчеты, она прижалась к его плечу.

Уверенность, сказала она. Опыт. Интуиция. Судьба. Я не знаю.

Самонадеянность?

Она усмехнулась. Да, и это тоже.

Тишину нарушали только скрежет карандаша о бумагу и тиканье часов.

Над камином висела картина, которую написала Лили: величественный олень на зеленом фоне. Голова повернута назад, и глаз не видно: только затылок, уши и рога. Лили сделала глоток вина, вглядываясь в картину, вспоминая день в Ричмонд-парке, когда написала ее, и думая о том, что зеленый следовало сделать намного темнее.

А еще, произнес Джошуа, прервав мирное молчание, мы первая семья, которая отправляется в прошлое в полном составе, сказал он уже не в первый раз.

Первая, о которой нам известно, поправила Лили.

О которой нам известно, да. Но все же. Он слегка улыбнулся. Мы первопроходцы.

Я люблю тебя, искренне сказала она.



Момент истины настал, когда подали утку: Брюс Ли вошел в ресторан вместе с Линдой и главой своей студии, Рэймондом Чоу, и дверь за ними захлопнулась, оставляя снаружи звуки торопливых шагов, крики и исступленный шепот.

Все официанты наострили уши. Лили потушила сигарету в пепельнице, а Джошуа вскочил на ноги с несвойственной ему поспешностью.

Последовавшие за этим события почти не сохраняются в памяти Томми и Евы. Но они будут помнить, какими твердыми и тяжелыми были руки отца у них на плечах, когда он подвел их к знаменитому актеру. А еще — как их мать потянулась пожать руку Линде и как Брюс улыбнулся, склонившись к их потрясенным лицам.

Джошуа и Брюс разговаривали на кантонском будто старые друзья. Затем Джошуа сказал: Томми. Ева. И отрепетированная фраза легко и непринужденно слетела с их губ: вы наш кумир, мистер Ли. Мы целыми днями смотрим ваши фильмы. Не могли бы вы дать нам автограф?

Брюс рассмеялся, и его смех был грандиозным.

Ты очень похожа на мою дочь, сказал он Еве по-английски. Ты правда смотрела мои фильмы?

Да, сэр! Ева встала в стойку кунг-фу, отчего Брюс рассмеялся еще громогласнее.

Ну а ты, юноша? Он взъерошил волосы Томми. Тебе есть что показать?

Томми молча потряс головой. Брюс расплылся в улыбке и присел на корточки, чтобы быть с ним одного роста.

Ты очень похож на отца, сказал он, бросив взгляд на Джошуа, который стоял прямо за Томми.

Брюс был прав: отец и сын удивительно походили друг на друга. То же худощавое телосложение, угловатые скулы, острый нос.

А *ваш* сын тоже на вас похож, вырвалось у Томми.

Не настолько. Брюс снова взъерошил ему волосы. Ну что... вы сказали, что хотите автограф?



После того как они вернулись за стол и покончили с ужином, после того как они добрались до места прибытия и снова перенесли в май 2000-го, Ева только и говорила о том, как рассмешила Брюса Ли, а Томми все повторял, как «круто» он выглядел. Даже когда их отправили спать, Ева пробралась в комнату Томми, и они целый час возбужденно шептались обо всем, что еще сказал или сделал Брюс Ли.

Но Джошуа за оставшийся вечер не проронил ни слова.

Когда муж с женой легли спать, Лили наконец спросила: Джош, что-то не так? Расскажи мне.

Поначалу он не ответил. А потом сжал ее руку под одеялом.

Завтра будет солнечно, сказал он.

Солнечно?

Если встанем пораньше, можем доехать до Райслипа и провести с детьми день на пляже.

Лили столько всего хотелось обсудить с мужем. Начиная от технических расчетов и заканчивая расклешенными джинсами, гонконгскими небоскребами, женами других мужчин и тем, как сильно она скучала по сигаретам; но она слишком хорошо его знала. Так что она поцеловала его в щеку и сказала, что день на пляже — отличная идея.

На следующее утро Джошуа проснулся с рассветом.

Когда остальные члены семьи наконец спустились вниз, разбуженные запахом жареных яиц и чеснока, то обнаружили, что на кухне уже готов завтрак: рисовая каша с жареными грибами и тонкими ломтиками имбиря и омлет с фаршем и луком.

Мы едем на пляж, объявил Джошуа детям тоном, не терпящим возражений.

Так что через полчаса Ваны были на берегу Райслип-Лидо, к западу от Лондона.

Джошуа и Лили в шортах и свободных футболках, резиновых сланцах и темных очках сидели на полотенцах под лучами солнца, отбрасывая на песок резкие тени. Он читал газету, она — толстую историческую книгу о женщинах-шпионах во время Второй мировой. Время от времени они отвлекались, чтобы обсудить прочитанное или посмотреть на Томми и Еву, которые плескались у берега.

Близнецы прыгали через волны — гигантские, мощные волны, которые порой сбивали их с ног и на пару секунд накрывали с головой. Каждый раз они выныривали, отплеываясь и хохоча, красные, как младенцы. Иногда они брались за руки и прыгали вдвоем, и с того места, где сидели их родители, они выглядели как две фигурки, застывшие в полете.

Как чудесно, наконец произнесла Лили, наблюдая за ними.

Джошуа оторвался от газеты. Что чудесно?

Этот день.

А вчерашний?

Вчерашний тоже.

Он слегка улыбнулся. Чего бы тебе хотелось на ужин?

А какие варианты?

Спустя время, когда для всех четверых годы сольются воедино, этот день они все равно будут вспоминать как «хороший день».

Томми и Ева

Ноябрь 2004

К двенадцати годам Томми и Ева утрачивают почти всякое сходство, не считая черных волос.

Она становится, что называется, упитанной: щеки и подбородок округлились, руки и ноги пополнели. Теперь она носит очки (без них она совсем ничего не видит). Почти все свободное от школы время проводит за рисованием, чтением, ведением дневника и снова рисованием. Ее любимое место — диван в гостиной, где она уютно устраивается с книгой или альбомом для рисования, подтянув колени почти к самому подбородку и глубоко погрузившись в свой собственный мир.

Его телосложение становится, что называется, атлетическим: щеки чуть впалые, руки и ноги более мускулистые, чем прежде. Теперь он стильно одевается (модные кроссовки и футболки с яркими надписями или картинками). Свободное от школы время он проводит на футбольном поле недалеко от дома: он левый полузащитник в местной молодежной команде. Или сидит на диване в гостиной рядом с сестрой, вытянув длинные ноги, и играет в «ФИФА» на плейстейшене с таким видом, словно у него нет никаких забот.

Но потом, в ноябре, происходит Эксперимент.



Одним ноябрьским вечером, в пять часов, когда за окном уже темно как ночью, Ева отрывается от «Таинственного сада». Глядя на часы над камином, она недоуменно произносит:

— Они задерживаются на два часа.

Томми принимает беззаботный вид и направляет Майкла Оуэна отбить гол «Челси».

— И что? Они и раньше задерживались. Помнишь, когда мама взяла отца с собой в Ливерпуль?

— Тогда они задержались на час.

— А когда папа взял ее в Коулун?

— Тогда тоже на час.

— Они и раньше задерживались.

— Да, но...

— ...но не на два часа, да, я слышал. — Он останавливает игру. Бросает взгляд на часы. — Они впервые попали в девятнадцатый век дольше, чем на пару секунд. Конечно, им захотелось там задержаться.

— Может, скажем кому-нибудь?

— Кому? Соседям? — Он смеется и снова включает игру. Произносит детским плаксивым голосом: — *«Извините, пожалуйста, мы путешественники во времени, наши родители задержались в Викторианской эпохе, и мы боимся, что с ними что-то случилось»*. Да уж, представляю их реакцию!

— Не смейся!

— Я не сме...

— Смейся! — Она захлопывает книгу и оглядывает гостиную широко распахнутыми глазами за очками в лиловой оправе.

— Может, позвоним *аме*?

Женщина, которую они называют амой, — это их бабушка Кэрол, мать их матери. Они с детства зовут ее ама — так звучит слово «бабушка» в чаошаньском диалекте китайского, на котором говорят в семье их матери. Отец Лили умер еще до рождения близнецов, так что ама — их единственная близкая родственница в Англии. Но она не знает об их способностях; Лили всегда настаивала, что ей это знать ни к чему.

— Они опаздывают всего на два часа, — снова говорит Томми, — давай подождем.

— Но, Том...

— Давай подождем.

Но час спустя ничего не меняется.

Она выскальзывает из гостиной. Он все еще погружен в игру и не обращает на нее внимания. Через несколько минут с кухни доносится стук ножа о доску. Потом — звук включения плиты, шипение чеснока на раскаленном масле. Скрежет лопатки о сковородку. Знакомый запах дома.

Вскоре она заглядывает в комнату.

— Я приготовила ужин, — говорит она.

Он останавливает игру и идет за ней в столовую, где видит две миски риса, две пары палочек, тарелку с капустой стир-фрай и остатки свинины барбекю, которую отец вчера купил в Чайна-тауне.

Пробормотав «спасибо», он садится. Они молча едят, стараясь не смотреть на часы.



На следующий день — воскресенье.

Заснув в четыре утра, оба просыпаются в полдень и садятся вдвоем на кухне, он на барной стойке, она на высоком стуле, намазывая тосты маслом и по очереди отпивая апельсиновый сок из одного пакета.

Они высказывают идеи и теории. Возможно, что-то случилось. Что-то явно случилось. Может, они не могут вернуться. Может, они попали не в ту эпоху. Или вообще никуда не попали, а зависли где-то в пространстве между этим временем и тем, затерявшись в знакомой им всем невесомой темноте. Но ни один из них не хочет говорить или даже думать о последствиях того факта, что тело не может оставаться в прошлом больше двадцати четырех часов.

— Можно попробовать их найти, — предлагает она.

Он качает головой.

— Попробовать можно, но вряд ли получится.

— Можно попробовать, — снова говорит она.

Он качает головой и соскальзывает с барной стойки. Берет тарелку для своей порции тостов.

— Подождем, — говорит он.



Воскресенье перетекает в понедельник, понедельник — во вторник и среду, и оба так и остаются дома, не говоря вслух о том, что не ходят в школу или, в случае Томми, на футбольные тренировки, или, в случае Евы, в местный книжный.

Когда не спят (и ждут), они проводят время на диване. Он играет в «ФИФА», а она, не желая писать в дневник, начинает рисовать павлина с двумя головами. Они по очереди разогревают еду или готовят из того, что осталось в холодильнике: четырехдневный лимонный цыпленок, тушеная свинина в коричневом соусе, жареный батат в устричном соусе, омлеты с крошечными кусочками острых сосисок. Когда рис и другие продукты заканчиваются, они берутся за запасы лапши быстрого приготовления.

В четверг Томми, жаривший остатки сосисок с двумя пачками лапши, вдруг замирает. Ева откладывает обросший деталями рисунок (теперь у двухголового павлина появился плюмаж с глазами, сердцами и молниями) и поднимает бровь.

— Ты что-то придумал? — спрашивает она.

— Пора попробовать их найти, — говорит он.

После ужина они идут в кабинет отца, где царит еще больший хаос, чем во время их совместной экспедиции к Брюсу Ли четыре года назад. Пол и все четыре стены полностью покрыты документами, фотографиями, рисунками и толстыми книгами. Свет почему-то не включается, и Томми раздвигает шторы, но за окном уже темно, так что толку от этого мало.

Близнецы встают в центре комнаты лицом друг к другу. По его кивку они берутся за руки. Их головы опущены. Глаза закрыты. Нужно сосредоточиться.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раз, два, три, как всегда.

Они слышат стук собственных сердец. Бум, бум, бум.

Наступает тишина, но не полная. Не полная.

Кажется, что прошло несколько дней. Он говорит:

— Открой глаза.

По его тону она понимает: они все там же. И когда она открывает глаза и смотрит на него, то видит, что в его глазах блестят слезы.



В пятницу Томми просыпается первым. Уже три часа дня, и, когда он валится на диван, разбитый после сна, солнце уже клонится к закату.

На мгновение кажется, что он сейчас потянется за пультом и джойстиком. Но потом он отказывается от этой мысли, проводит рукой по волосам и прислоняется головой к холодной кирпичной стене. Несколько минут он так и сидит, уставившись в потолок. На пустой камин. На тикающие часы. На изображенного матерью оленя, морда которого скрыта из виду.

Потом к нему подходит Ева с остатками лапши, разложенными по двум мискам, и двумя парами палочек. Он двигается, освобождая для нее место, и они сидят лицом друг к другу, привалившись спинами к подлокотникам, почти соприкасаясь пальцами ног.

В руках у них покоятся теплые миски с лапшой, приправленной молотым перцем чили и кориандром.

У нее красные глаза.

— Пора позвонить аме, — говорит она.

И на сей раз он кивает.



Никто не устраивает похорон. (Нет смысла.)

Всем говорят, что произошла автокатастрофа. (Так легче, да и проще объяснять тем, кто не знает.)

В доме появляются юристы в дорогих костюмах. (Ама разговаривает с ними в гостиной.)

Футбольный тренер Томми приходит его проводить. (Он не возвращается к тренировкам.)

Коллеги отца по университету присылают цветы и открытку. (Ева ставит цветы в вазу, но забывает налить воды.)

Ама идет в школу, чтобы поговорить с учителями. («Мы будем ждать столько, сколько потребуется», — то и дело слышат они.)

Ама идет в магазин, и холодильник снова забит едой. (Но теперь у нее немного другой вкус.)

В кабинете отца тут же наводят порядок: бумаги аккуратно разложены по конвертам и небольшим картонным коробкам, а коллекция виниловых пластинок переезжает на чердак. (Но студия их матери — картины, кисточки, краски и электрические гирлянды, украшающие подоконники, — остается нетронутой.)

Никто не произносит слово «умерли». (Они просто «не здесь».)



Ама говорит: «Я потеряла дочь и зятя из-за какой-то глупости».

Ама говорит: «Не могу поверить, что мне об этом не рассказывали».

Ама говорит: «Не могу поверить, что вы все мне врили».

Ама говорит: «Не могу поверить, что это правда».

Ама говорит: «Не могу поверить, что это правда».

Ама говорит: «Не могу поверить, что это правда».

Ама говорит: «Это больше не повторится».

Ама переезжает к ним во вторник. Ее дом в Примроуз-Хилл, где выросла Лили, сдается. Она занимает спальню Джошуа и Лили. На стенах появляются черно-белые фотографии ее близких, которых уже нет в живых: ее матери Мэри и мужа Генри. Всякий раз, когда дети поднимаются по лестнице, на них смотрит маленькая Лили с двумя косичками.

Ама развешивает по дому картины, которые ее муж покупал на аукционах, чтобы производить впечатление на белых коллег-юристов, когда те приходили в гости, — изображения гор и озер, выполненные китайскими кистями; Еву восхищает, как изящно прорисована каждая черточка. Края рамы украшены китайскими иероглифами.

— Что они означают? — спрашивает Ева.

Ама цокает языком.

— Мы с дедушкой этого так и не узнали, — говорит она.

Ама передвигает диван на новое место.

Китайский календарь, который их отец повесил на кухне, теперь висит в гостиной.

Она перевозит в дом свое кресло и ставит его у окна, где раньше стоял книжный шкаф матери.

Она заставляет их вставать не позже десяти.

После стирки она складывает их одежду на кухонном столе, а не разносит по комнатам.

Она не плачет.

Ева думает: как можно не плакать, только что потеряв дочь?

Как можно не выть и не рвать на себе волосы в исступлении?

Разве не это нам всем положено делать?

Она не знает.

Но ама готовит им каждый день без остановки.

Ама говорит: «Если что, я всегда рядом, но теперь все будет совсем иначе».

Ама говорит: «Это большое несчастье, но бывает и хуже».

Ама говорит: «Оглянитесь вокруг. Вы все равно хорошо живете».

Ама говорит: «Нельзя целыми днями сидеть в четырех стенах».

Ама говорит: «Нельзя целыми днями ни с кем не общаться».

Ама говорит: «Со временем станет легче».

Ама говорит: «Вы привыкнете и научитесь с этим жить».

Ама говорит: «Вы привыкнете с этим жить».

Ама говорит: «Вы привыкнете».

Ама говорит: «Все мы привыкнем».



Проходит четыре недели, три дня и бесчисленное множество минут.

Час ночи, за окном монотонно стучит дождь.

Томми не задергивает шторы на ночь, и в свете луны и фонарей на стене пляшут странные тени:

Медведь, говорит Ева, лось, дельфин, рыцарь с щитом в форме сердца. Башня, говорит Томми.

— Хочешь поспать здесь? — спрашивает он.

— Я ненадолго, — отвечает сестра. — Если ты не против.

— Не против.

Он оборачивается как раз в тот момент, когда она оттирает глаза тыльной стороной ладони.

— Ты плачешь? — спрашивает он.

— Нет. Просто злюсь. Как думаешь, они вернутся? Когда-нибудь?

Он пристально вглядывается в движущиеся тени.

— Не знаю.

— Огнедышащий дракон, — говорит она. — Аллигатор с отрубленным хвостом, роза, спящий кенгуру.

— Нос, — говорит он. — Пятно от воды из стакана, опрокинутого на скатерть.

И пусть этот жест кажется немного детским, она сжимает его руку, лежащую на одеяле.

— Не верится, — говорит она, — что скоро Рождество.

Джошуа

1977

Даже через много лет, став взрослым человеком с определенным статусом и положением, Джошуа Ван все равно видел во сне город-крепость Коулун и дорогу, по которой в детстве ходил каждую субботу из ресторана родителей, расположенного на цокольном этаже здания с выходом прямо на улицы Гонконга, к квартире, принадлежавшей его бабушке по отцу, Фан.

Он почти ничего не помнил о доме своего детства. Ни как дождь стучал по цинковым кровлям, ни где стояло любимое кресло матери в тесной гостиной. Но дорогу — помнил.

На выходе из ресторана — налево, по улочке, где мелкие работники офисов и строки сидели на пластиковых стульях, орудуя палочками для еды и перекрикивая звон бутылок и скрежет лопаток о сковороды, а двое наемных официантов передавали заказы его отцу на кухню.

Затем вверх по лестнице, мимо стоматологической клиники, в витрине которой на красном подносе была выставлена целая армия искусственных зубов — золотых, серебряных, черных.

Потом пройти до конца почти непроглядно темного коридора с магазином на углу: путь тускло освещали лишь белые флуоресцентные лампы, свисавшие с потолка. Владелец магазина был худощавый мужчина с крупной бородавкой на верхней губе, который гнал метлой детей, явившихся воровать сладости и алкоголь.

Два пролета вверх. Увернуться от тонкой струйки воды, стекающей с потолка, мимо коридора, по которому его мать ходила каждое утро, чтобы набрать питьевой воды и постирать.

На развилке — направо. Он никогда не сворачивал в темный коридор слева, где из окон тускло освещенных комнат порой показывались женщины в кимоно, выдыхая сигаретный дым, клубившийся как шелк.

А вот и старик. Свернулся у сырой стены и лежит, подергиваясь; от него пахнет мочой, а из предплечья за частую торчит игла. Во сне Джошуа иногда останавливался, чтобы пощупать его лоб. Порой он даже обнимал старика, прижимал к себе, будто тот был его плотью и кровью, и оба плакали как дети. А иногда он просто проходил мимо. (После этих встреч он всегда просыпался с сильной болью в груди.)

После старика — квартира, где жила красивая девочка, которая подарила ему его первую игрушку и первый поцелуй.

Квартира, где жила старуха, которая могла посмотреть на твою ладонь и рассказать, когда ты влюбишься и сколько у тебя будет детей.

Квартира, где жил долговязый мальчик его возраста, с которым они дружили, когда были совсем маленькими. Потом стали делать вид, что не знакомы, когда из тюрьмы вернулся старший брат мальчика.

Квартира, где жила англичанка, которая всякий раз останавливалась, проходя мимо старика с иглой, чтобы сказать тому что-нибудь утешительное.

Квартира, которая вечно пустовала.

А дальше — квартира его бабушки.

Сколько он себя помнил, на ее двери всегда висела картинка в китайском стиле, выполненная тонкой острой кистью: три толстяка сидят под бамбуковым деревом и улыбаются, а у их ног свернулся тигр.

Она всегда казалась ему смешной. Но он никогда не спрашивал у бабушки, что она означает. Он думал, бабушка увидела ее в журнале или календаре и, посчитав забавной, вырезала и повесила на дверь, как бы говоря: теперь ты всегда будешь знать, где меня найти.



Его бабушка была миниатюрной дамой, седой и чрезвычайно морщинистой. С тех пор как ее муж умер, а дети разъехались, она жила в этой квартире одна, не считая периодов, когда вторую спальню — крошечную, без окон — удавалось кому-то сдать.

Каждую субботу, когда Джошуа приходил к ней, она целовала его в щеку и усаживала за деревянный обеденный стол, который ее муж сколотил вскоре после свадьбы. Отец Джошуа, ее старший сын, навещал ее всего раз в месяц. И то много будет, как-то раз буркнул он матери Джошуа.

Рис, говорила бабушка. И Джошуа доставал маленький, еще теплый пакетик риса, который незадолго до этого ему выдал отец. В ресторане была большая рисоварка, а у бабушки — только плита.

Садись, затем говорила она, протягивая ему миску для риса. Затем был завтрак: как правило, пельмени и жареный водяной шпинат или свинина в коричневом соусе. Потом — чай, который всегда был обжигающе горячим.

В его воспоминаниях она готовила вкуснее всех. Иногда он задумывался, так ли это на самом деле. Или дело в том, что он тогда был ребенком, а во взрослом возрасте мы склонны идеализировать все, что любили в детстве.

Больше всего он любил свиные ребрышки, которые она жарила в кипящем масле с чесноком, пока кожа не становилась золотисто-коричневой. Он помнил, как брал ребрышко палочками и мясо было таким мягким, что отходило от кости. Но со временем он забыл их вкус. За прошедшие годы он множество раз пытался воссоздать это блюдо, но оно никогда не получалось таким же, как у нее.

Доедай, всегда говорила она, чтобы вырасти таким же сильным, как дедушка.



Доедай, чтобы вырасти таким же сильным, как дедушка. Эти слова бабушка произносила часто и с гордостью: истории о дедушке Джошуа были одной из немногих радостей, оставшихся в ее жизни, не считая внуков.

Твой дедушка был любовью всей моей жизни, говорила бабушка. Я все время по нему скучаю. Но мы всегда вместе, как солнце и луна, пусть только духовно. Некоторые люди за всю жизнь не встречают человека, которого бы так любили. Надеюсь, у тебя хорошая карма и однажды тебе повезет так, как мне.

Будучи ребенком, Джошуа не очень-то понимал, о чем она говорит, но улыбался, потому что видел, как она расстраивалась всякий раз, когда говорила о бабушке; губы у нее дрожали, и она моргала чаще обычного.

Джошуа знал, что дедушка родился в материковом Китае. Однажды, будучи уже юношей, он сбежал в Гонконг на рыбацкой лодке. Он добрался до Коулун, поскольку слышал, что там дешевое жилье и что там легко затеряться иммигранту без документов.

Именно в Коулуне он впервые увидел бабушку. Она была младшей дочерью квартирной хозяйки, которая то и дело заглядывала к нему в комнату и приглашала к семейному столу. Бабушка смеялась над ним и смешила его. Он заставлял ее краснеть. Мы понравились друг другу с первого взгляда, говорила она Джошуа.

Я шила платья вместе с матерью, чтобы заработать на жизнь, сказала бабушка. А твой дедушка каждый день отправлялся в комнату без окон, пропахшую химикатами, и резал большие листы пластика на кусочки, чтобы мы могли позволить себе купить собственную квартиру.

У него было много друзей, спросил Джошуа, у которого друзей было мало.

Да, с гордостью отвечала бабушка. Людей, которые жили в соседних квартирах, уже нет в живых, но он знал их всех по именам. Мы устраивали большие вечеринки, готовили друг у друга на кухне и каждую неделю вместе ужинали или играли в маджонг.

Иногда она промакивала глаза салфеткой. У него в глазах плясали искры, любила говорить она. Он мог рассмешить кого угодно. Мне так жаль, что ему не довелось познакомиться с тобой.

Когда Джошуа исполнилось восемь и он решил, что достаточно взрослый для серьезных разговоров, он спросил, как дедушка умер.

Бабушка отставила чашку чая, потом провела правой рукой по левой, словно вспоминая руку другого человека. Ее голос чуть дрогнул. От сердечного приступа, сказала она. Во время игры в бильярд. Он ударил по мячу, положил руку на грудь, рассмеялся и потом... и потом все.

Она ушла в спальню и через несколько секунд вернулась с фотографией. Это мы в день переезда в эту квартиру, тихо сказала она, вкладывая снимок ему в руки. У тебя его улыбка. Я уже говорила?



Той ночью Джошуа долго-долго разглядывал фотографию и в конце концов мог представить ее с закрытыми глазами в мельчайших деталях:

Та же квартира, где он был утром, но мебель расставлена по-другому: деревянный обеденный стол стоит у маленького телевизора, а не у дивана.

Слева — окно, откуда открывается вид на крышу, над которой тянутся бельевые веревки.

Старые, отходящие от стен бежевые обои в цветочек, оставшиеся от предыдущих жильцов.

Его бабушка, молодая, улыбающаяся, в платье с розочками. Юноша, обнимающий ее за талию левой рукой, с зализанными назад волосами и с улыбкой, очень напоминающей ту, которую Джошуа видел каждый раз, когда смотрел в зеркало.

Он зажмурился крепче. Сделал вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

Сначала это ощущение возникло
в кончиках пальцев,
отчего по рукам побежали мурашки,
и стало подниматься вверх,
к плечам и шее,
пока наконец у него не задрожали губы.
Затем оно распространилось по всей голове.
Это было ощущение свежести и прохлады —
словно в него плеснули ледяной водой.

Пальцы на ногах, казалось, пустились в пляс.
В груди угнездилась странная, но не то чтобы неприятная тяжесть.
Ему хотелось... Кричать? Плакать? Смеяться?
Нет. Он сжал кулаки и мысленно представил фотографию.
Темнота.

Или...
свет,
просто в другой вселенной?

Тишина.

Вода. Капли.
Острый запах горелого.
Слепящий белый свет.

Затем...
раздался голос:
эй, парень! Парень! Отойди-ка! Дорогу!

Он открыл глаза.

И увидел другие глаза — так похожие на его собственные.



Жил-был мальчик, который наблюдал за тем, как меняется город-крепость Коулун.

Он слонялся по лестницам, иногда по крышам, по перекресткам, где тропинки вели вниз,
к темным сырým коридорам,

которые переплетались и переходили один в другой, подобно гигантскому лабиринту.

Мальчик научился не замечать запаха гари, мусора, немытых тел, пережаренной на сильном огне пищи.

Сирота? Вор? Призрак?
Нет. Всего лишь путешественник.
Гость.
Просто мальчик.

Мальчик передвигался как обезьяна: быстрый, проворный, неуловимый, — казалось, за ним не угнаться.
Никто не знал, как его зовут; немногие вообще знали о его присутствии.
Но те, кто знал, старели на его глазах и молодели снова.
В Гонконге сменялись десятилетия,
а с ними менялись и жители города-крепости,
но мальчик всегда задавал один и тот же вопрос:
не подскажете, где я могу найти человека по имени А-Ли Цян?



Иногда мальчик встречал мужчину с глазами,
напоминающими его собственные, и с улыбкой почти как у него.

Обладатель этой улыбки, похоже, не воспринимал мальчика всерьез, когда они разговаривали.

Да и разговаривали они мало.
Что за чепуха, со смехом говорил мужчина. А, ты мой внук, вот, значит, как!
Он толкнул своих друзей под ребра. Хлопнул по плечам.
Как тебе этот парень, брат? Он говорит, что мы родственники.
Лично я сходства не вижу. Я-то куда красивей.
Да, и что ты сейчас сказал? Чтобы я не играл в бильярд?
Мужчина раскатисто засмеялся. Ты слышал, брат?
Да он шутник. Чтобы я не играл в бильярд?
Пау!
Да кто ты такой, малыш? Запрещать мне играть в бильярд!
Я? Умру от сердечного приступа?
Так ты видишь будущее, а? Мужчина снова засмеялся.
Так что мальчик просто стоял и продолжал его упрашивать.
Но, как часто бывает с детскими просьбами,
они не были услышаны.



В одно субботнее утро Джошуа не пришел к бабушке с рисом. Он явился гораздо позже, около полудня, а когда она отчитала его за беспричинное опоздание, не сказал в ответ ни слова.

Он смотрел на разогретую ею еду, словно не видя ее: это были его любимые блюда — жареные свиные ребрышки и немного капусты стир-фрай, которую, по ее словам, дедушка каждый день ел на завтрак с рисовой кашей.

Что случилось, дитя мое, спросила она, увидев, что он просто сидит и смотрит на еду.

Ничего, сказал он. Он взял палочки и попытался улыбнуться.

С тех пор как она подарила ему фотографию, прошло три месяца. Он стал ею одержим и расспрашивал о дедушке почти каждый день. Она стала замечать, что большинство вопросов касаются дня его смерти. Как он был одет? Помнит ли она день и год? Какая была погода? Где он играл в бильярд? У А-Яня? Кто такой А-Янь?

Она рассказала ему все, что помнила, а помнила она не так много, и он был разочарован. Как бы она ни любила внука, ей не хватало духу сказать ему, что она помнила не столько само событие, сколько то, что почувствовала, услышав о случившемся: словно жизнь закончилась. Словно отныне небо будет темным и пасмурным до конца ее дней.

Она стала замечать, что под глазами у него залегли темные круги. Кожа приобрела бледный, почти землистый оттенок. Вопреки обыкновению, она не села напротив, а подошла и коснулась его щеки, будто проверяя, нет ли у него температуры. Дитя мое, что случилось, снова спросила она.

Он покачал головой. Ничего. Увернувшись от ее прикосновения, он взял ребрышко палочками, думая, что, если просто съест приготовленную ею еду, она поверит, что все в порядке. Но, к его ужасу, на глаза навернулись слезы. Юное, неопытное тело выдало его.

О, любовь моя. Она обняла его, и он безудержно расплакался, как никогда не плакал ни до, ни после этого. В чем дело? Расскажи мне.

Что бы я ни делал, всхлипнул он, его не вернуть.

Томми, Ева и Кэрол

Октябрь 2005

Надеяться опасно.

Надежда неумолима даже перед лицом логики, разума
и любой системы.

В том доме на Кеннингтон-роуд,
на южном берегу Темзы,
надежда живет
до сих пор
в каждой трещинке, каждом стыке, каждом кирпичике, каждой тени и ткет мечты из
воздуха,
как швея с проворными пальцами,
рисую дивные, дивные сцены бесконечных «а может».

А может, они вернутся,
шепчет она тебе,
пока никто не слышит.

Даже ты сам.

А может, они не умерли.
Они просто не здесь.

Но потом ты стряхиваешь с себя морок, выпутываешься из ее объятий.
И она превращается в острый клинок.



В жизни Томми прошлое просачивается в настоящее в самые неподходящие моменты.

Каждое утро, когда он спускается к завтраку, мать по-прежнему встречает его на кухне; она сидит за стойкой, потягивая чай, и велит ему заправить рубашку в брюки. Когда он уходит в школу, она расхаживает по студии с кистью в руке и через плечо кричит ему, чтобы не задерживался. После ужина она сидит на диване, листая книгу или журнал. Когда он выключает свет перед сном, она стоит в дверях его комнаты и желает ему доброй ночи. Она рядом, даже когда он засыпает, стараясь ни о чем не думать. Он всегда краем глаза видит, что она рядом, — даже когда темнота увлекает его в прошлое.

Но вот отец... С отцом все не так просто. Как и всегда.

В отличие от матери, отец не живет в доме. Он является в сопровождении тумана и воспоминаний, поджидая Томми в засаде всякий раз, когда он чувствует, что заблудился, — и не только. Вот отец за столиком в ресторане отеля «Хаятт Ридженси» в Коулуне незадолго до

появления Брюса Ли. Выражение его лица, суровое и почти всегда неодобрительное, постоянно маячило на периферии его сознания. Постоянно. Уголки губ опущены вниз, в глазах ожесточение.

Иногда Томми оказывается в их машине и снова встречается взглядом с этими глазами в зеркале заднего вида.

Иногда он снова маленький: сидит за столом и делает домашнее задание по математике, а отец требовательно нависает над ним. Эта вечная требовательность. «Соберись! Неужели так сложно понять? Соберись! Ты не слушаешь!» И Томми дрожит от страха, потому что он так привык. Ему кажется невозможным даже просто посмотреть отцу в глаза.

Но с другой стороны — хороший день.

Он старается думать о хорошем дне. Вспомнить ощущение твердых рук отца у себя на плечах в момент, когда ему улыбнулся Брюс Ли. Или силу волн, набегающих на берег, когда они с Евой берутся за руки и прыгают. Он оглядывается и видит, как отец с матерью сидят на пляже и машут им...

Но вспоминать хороший день так же больно, как и плохие. Иногда даже больнее. Так что он отметаёт все эти воспоминания в сторону с той же ловкостью, которую демонстрировал на футбольном поле, выводя мяч мимо трех защитников.

Зачем на них заикливаться, говорит он себе. Что толку в воспоминаниях, пусть и счастливых, если они не приносят ничего, кроме грусти?



— Твоя мать говорила, что ты футболист. Это правда, Томас?

Томас. Именно так Кэрол всегда называла внука. Да, обаятельная улыбка и беззаботность отличают его от отца, но есть в нем некая настороженность, слишком сильно напоминающая ей о человеке, которого любила ее дочь.

Кэрол хорошо помнит холодок, который исходил от Джошуа при знакомстве. «Ты точно уверена? — сказала она Лили, отведя ее в сторону перед свадьбой в ратуше. — Никогда не думала, что ты выйдешь за такого, как Джошуа».

Генри, муж Кэрол, согласно кивнул: «По-моему, он тебе не подходит».

Глаза дочери сверкнули. Даже теперь, спустя много лет, Кэрол больно это вспоминать. «Я знала, что так и будет, — сказала Лили. — Если вы так недовольны, если не можете хоть немного меня поддержать, наверное, вам лучше уйти».

Кэрол никогда не понимала этого гнева, поселившегося в глазах Лили с тех пор, как она была подростком. Они с Генри годами безуспешно пытались найти этому объяснение. «Все, чего мы хотим, — говорил Генри, — чтобы она была счастлива и у нее было все самое лучшее. Как она не понимает?»

«Вот именно, дорогой, — всегда отвечала Кэрол, качая головой. — Она слишком избалованная. Неблагодарная. Она злится на нас, — говорила она, цокнув языком, — совершенно несправедливо».

Кэрол замечает, что тот же гнев теперь плещется в глазах внука.

Он сидит на диване в гостиной и играет в «ФИФА». Сегодня четверг. Будний день. Он даже не достаивает ее взглядом.

— Да, я раньше играл за школьную команду, — отвечает он с некоторым вызовом. — И что?

Кэрол опускает руки и снова скрещивает их на груди.

— Но больше не планируешь, — утвердительно говорит она.

— Посмотрим. Ты же понимаешь...

— Нет, не понимаю. — Она чуть не произносит: «Ты такой же, как твоя мать», но вовремя одергивает себя.

Он останавливает игру и смотрит на нее, на этот раз — внимательно. Он пытается придать голосу стальные нотки, как у отца. Правда, выходит не совсем то же самое.

— Да, ама, — холодно, по-детски говорит он. — Ты и вправду не понимаешь.

— Томас...

— Томми.

— Томас. Это твое имя, и именно так я буду тебя называть.

— Мне больше нравится Томми.

— Томас — прекрасное имя. Второе имя твоего дедушки. Моего мужа. Он делал для этой семьи все. Дом, в котором мы живем...

— Был куплен благодаря тому, что он работал как проклятый, да. Я сто раз это слышал. Я помню.

Напряженное молчание. Затем Кэрол выходит из себя.

— Выключи игру, Томас.

— Почему?

— Выключи, и все.

С таким видом, словно ему хочется поскорее со всем этим покончить, он повинует. Кэрол подходит к дивану, но не садится. Она даже не пытается казаться дружелюбной.

— Сегодня ночью тебя не было в постели, — говорит она. — И вчера тоже. И позавчера. Я знаю, что вы с Евой... путешествуете... хотя я говорила вам, что теперь в нашем доме это запрещено.

В его взгляде снова мелькает этот необъяснимый, ранящий гнев. Он сжимает руки в кулаки. Врезается ногтями в ладони.

— Пока я здесь, — продолжает Кэрол, — я этого не потерплю. Знаю, что родители воспитывали вас иначе, но именно поэтому они и оказались в беде.

— Они не в беде...

— Ты понимаешь, что я говорю?

Томми разжимает кулаки. Сжимает снова. Он считает себя таким взрослым, думает Кэрол. Ребенок, которого вырастил мой ребенок.

— Отец говорил, что наши способности — это дар, — говорит он, — который дан не каждому, и разбрасываться им нельзя. Его нужно беречь.

— Твой отец считал себя умнее всех на свете, — говорит Кэрол. — Но он был глупцом. И теперь моей дочери больше нет. — Ее голос срывается, но лишь на долю секунды, так что она сама это едва замечает. Она твердо кладет руку на плечо внука. — Хватит, Томас. Ты меня понял? Я не хочу повторяться. Это для твоего же блага. С этим нужно покончить.



С Евой все иначе.

Когда Кэрол впервые входит в ее комнату, на какой-то пугающий миг ей кажется, что она сама оказалась в прошлом — в комнате Лили, когда та была маленькой и бежала к матери всякий раз, как ударится коленом или испугается темноты.

Стены в комнате Евы от пола до потолка увешаны картинами и рисунками. Красочные изображения вымышленных существ: четырехкрылый розовый единорог, грифон с цветочной короной, самец и самка оленя, склонившие головы друг к другу, образуя сердечко.

Но больше всего здесь набросков людей: женщин, мужчин, детей. Некоторые — печальные, потерянные, удрученные — смотрят в сторону, и их лиц не видно. Взгляды других направлены прямо на Кэрол, и их горящие глаза прожигают ей душу.

Ева приподнимается на кровати, отрываясь от рисования.

— Ама? Пора ужинать? Я скоро спущусь...

Вопрос вырывается у Кэрол прежде, чем она успевает сдержаться.

— Что это?

Ева встает.

— Что?

— Это.

Набросок женщины прямо у Евы над окном. Длинные черные волосы до поясицы, заплетенные в толстую косу. Лицо, суровое и морщинистое, спокойно и неподвижно, как ручей в жаркий летний день. Ни малейшего колебания. За правую руку ее держит ребенок — девочка с большими круглыми глазами, глазами, при виде которых по телу Кэрол пробегает холодок ужаса.

Кэрол подходит ближе, протягивая руку к рисунку, словно касаясь святыни.

— Это твоя прабабушка Мэри. Моя мать. А это... это... — Она проводит рукой по изображению ребенка. — Это я. Она поворачивается к внучке с искаженным болью лицом. — Что это значит, Ева?

— Я собиралась тебе рассказать, ама, — едва слышно говорит Ева. — Я их видела.

— Ты хочешь сказать, видела их во сне?

— Нет. Не во сне. — Ева смотрит под ноги. — Помнишь, мы говорили тебе, что умеем? Что никто из нас не может оказаться раньше, чем в двадцатом веке, но у всех разные способности? Маме лучше всего удавалось попадать в конкретные даты, но только в пределах Англии, а папа мог побывать только в Гонконге. А Томми всегда оказывается в Лондоне до 1950 года.

— Ну а *это* здесь при чем? — Кэрол поджимает губы. Она срывает набросок со стены, но не в силах посмотреть на него.

— А это мой дар, ама, — говорит Ева. — Так это устроено у меня. Я вижу членов нашей семьи, почти как во сне. Я вижу их лица, слышу голоса, даже тех, кого я никогда не встречала, и я отправляюсь туда, где они. Ты ведь выросла в Ливерпуле?

Набравшись смелости, она берет набросок из рук бабушки. Указывает на изображенную на нем женщину.

— А-лао-ма Мэри. Моя прабабушка. Твоя мать. Я думаю, она призвала меня. Я слышала ее голос. Я закрыла глаза и увидела ее. И тебя.

Кэрол не знает, что сказать. Заметив другой набросок, она срывает его со стены. На нем — та же женщина, ее мать, но вместо маленькой Кэрол рядом с ней стоит высокий мужчина и обнимает ее за плечи. У мужчины добрые глаза и широкая, сияющая улыбка. Безмятежная улыбка.

— Этот человек рядом с матерью, — шепчет Кэрол, задержав взгляд на его лице. — Я его не знаю.

Ева делает шаг вперед.

— Ама, этот человек — твой отец.



Ева пытается рассказать Кэрол то, о чем та слышать не хочет.
Мужчина стоит на носу корабля.
Он же плывет по океану, держась за доску. Все вокруг полыхает. Крики. Смерть. Столько смерти...

Мужчина и женщина с длинной косой целуются под мостом.
Они же с маленькой девочкой. Потом — они в маленькой квартире, где в дождь протекает крыша. Ева слышит, как мужчина говорит женщине на кантонском:
благодаря тебе я обрел здесь жизнь.

Мужчина шагает по улицам вместе с другими, выбрасывая кулаки в воздух и крича.
Слышится свист, стук дубинок о тела.
Кандалы. Сырой запах камеры. Темнота.
Потом... морской воздух. Соленый, как слезы.
Новые берега. Новая жизнь.
Но старая жизнь потеряна навсегда.

— Мама говорила, что ты не знала своего отца, ама, — говорит Ева. — Она сказала, что твоя мама так и не выяснила, что с ним случилось. Однажды он просто исчез.

— Я знаю, что он был моряком из Китая, — отвечает Кэрол. Во рту у нее пересохло. — Он сражался на войне. Они с матерью встретились в Ливерпуле. Родилась я. А потом он ушел, и больше мы о нем не слышали. Мужчинам нельзя доверять. Большинство из них слабые и непостоянные. Только твой дедушка был другим.

Голос Евы дрожит.

— Ама, отец не бросил тебя. Это я и пытаюсь тебе сказать. Его забрали. Правительство... они не хотели, чтобы китайские мужчины после войны оставались в Англии, так что его арестовали и отправили...

— Нет. — Это слово режет Кэрол язык. — Хватит. Я не собираюсь это слушать. Так вот чем ты занималась, даже после моего приезда? — Ее охватывает ужасное осознание. — Ты что, и с отцом виделась? И с матерью?

— Иногда они зовут меня. И я прихожу. — Глаза Евы наполняются слезами. — Но я не приближаюсь к ним и не говорю с ними. Я не могу изменить то, как они... как они... так что я просто наблюдаю за ними издалека. Мне это помогает.

— Тебе это *помогает*? — Старая женщина цокает языком. — Дорогая моя, ты живешь в фантазиях. Как это может тебе помогать?

— Меня это успокаивает. Мне легче от того, что я знаю: на самом деле они не ушли.

— Но они ушли.

— Ама, а *ты* не хочешь узнать *своего* отца?

Ева берет бабушку за руку. Она еще никогда этого не делала. И для Кэрол этот жест означает: я хочу подарить тебе весь мир. Все, о чем ты мечтала.

Но почему же это так горько?



Иногда Кэрол снится Мэри — такая, какой была когда-то: сильная, здоровая, несокрушимая. Иногда Кэрол видит ее в их двухкомнатной квартире в Ливерпуле: шторы раскрыты, за окном — серое, затянутое тучами небо. Иногда она видит ее у плиты: она жарит рис на их крошечной кухне. Или в ванне: она набирает воду потрескавшимися руками, чтобы умыться усталое лицо.

— Неужели ты не хочешь узнать своего отца, ама? — спрашивает внучка.

Ева все твердит Кэрол, что знает почти все, что произошло. Она делится с Кэрол старыми газетными вырезками, черно-белыми фотографиями, историями, которые видела во время своих путешествий. Ева пытается рассказать Кэрол, как мужчина, который был ее отцом, после войны возглавил протестное движение, требуя равных условий оплаты для китайских моряков. О тюремной камере, в которой его держали, и о дне, когда его депортировали в Китай, не сказав ни слова его семье в Ливерпуле.

— Ама, неужели ты не хочешь знать, как он тосковал по тебе и *а-лао-ма* Мэри? — спрашивает Ева. — Не хочешь слышать, как он пытался вас разыскать? Как сложилась его жизнь? Как звучал его смех? Каким он был хорошим человеком?

Но Кэрол качает головой.

— Я не хочу больше ничего знать об отце, — говорит она.

Ева хмурится.

— Я не понимаю...

Кэрол отнимает руку.

— Ты не помнишь прабабушку. Когда она умерла, вы с Томасом были совсем маленькими. Под конец жизни она не помнила, как добраться до парка, хотя он был прямо через дорогу от дома. Она не помнила моего отца, человека, которого, по ее словам, любила. Она не помнила даже меня. Она, мой Генри, а теперь и твоя мать... все они ушли. — Она качает головой. — Что толку теперь от этих воспоминаний?



Иногда Кэрол снится Мэри — такая, какой была когда-то: сильная, здоровая, несокрушимая. Иногда ей снится мужчина, который стоит позади и обнимает ее за талию, уткнувшись подбородком в ямку у нее на шее. Голубое небо и открытое море, простирающееся до самого горизонта.

Она слышит, как кричат чайки, как входят в доки корабли.

В некоторых снах город Ливерпуль снова становится для нее целым миром. И каждую ночь ее жизнь начинается заново, когда в дом входит мать, наконец-то вернувшаяся с работы.

Но потом она просыпается, а ее дочь мертва. И одиночество ее детства ранит так же, как прежде.

Джошуа

1978–1986

Это всегда был Гонконг.

Он пытался побывать в других странах, других городах.
Он лежал в постели, представляя фотографии
Парижа, Лондона, Стамбула и Квебека в солнечную или дождливую погоду.
Но когда он открывал глаза, то всегда видел Гонконг.
Та же жара, то же солнце, оседающее на коже:
знакомые, любящие, порой удушающие объятия.

Через некоторое время он перестал искать этому объяснение.
Может, это было связано с призраками. Или с наукой.
Ну или просто так «это» было устроено.
Как и то, что знание точной даты и времени здесь не работало.
Только визуализация.
Этим навыком он овладел в совершенстве, запоминая то, что видел и слышал,
и полностью воссоздавая эти образы с нуля,
лежа ночью в постели. Это напоминало рисование:
четкие очертания зданий, устремляющихся ввысь;
сырость дорог после дождя; даже обувь случайного прохожего.

У них с младшей сестрой Дороти была одна комната на двоих:
кровати разделяла простыня, свисающая с потолка.
А значит, ему приходилось стараться не пропадать на всю ночь.
И тщательно прятать все, что читает или записывает.

Но, разумеется, в такой маленькой квартире не было места тайнам.
Так что всякий раз, когда родные смотрели на него,
во взглядах читалась какая-то резкость. Осуждение.
Невысказанное, конечно, как почти все в их отношениях.

Они думали, что он водится с девушками или, хуже того, присоединился к какой-то триаде².

Порой мать протягивала руку и касалась его щеки —
простой жест, в который вложено столько смыслов, — и в уголках ее глаз
поблескивали слезы. Отец пристально смотрел на него,
когда он по утрам выходил из комнаты, совершенно разбитый.
Кто ты, вопрошал его молчаливый взгляд.
Что ты сделал с моим сыном?

Он и не думал их разубеждать.

² Триады Гонконга – тайные общества, произошедшие от религиозных и патриотических организаций Китая. К XX веку такие общества постепенно трансформировались в криминальные группировки, распространившие влияние по всему миру. (Прим. перев.)

Он хотел, чтобы это так и продолжалось: в уединении, в безопасности, под покровом тайны,

словно «это» могло длиться вечно,
как песнь любви
между влюбленными, делящими постель в комнате без окон.



Знала только бабушка. Как ей было не знать,
когда он рыдал и молил ее о прощении,
потому что никак не мог исправить
то, что должно было произойти и уже произошло
во время той игры в бильярд.

В тот первый день, когда он рассказал ей,
как стоял в дверях и впервые видел, как дедушка смеется,
она спросила: как это было?
Он сжал губы.
Светло, сказал он.
Словно фонарики плывут по небу в китайский Новый год.
Тепло.
Приятно.
Головокружительно.
А потом — эта тяжесть в груди,
от которой у него порой сжималось сердце, и ему хотелось
опуститься на землю и сидеть, обхватив голову руками.



Мисс Синди, его учительница английского,
происходила из благополучной, обеспеченной гонконгской семьи;
это было видно сразу. Она училась за границей
и смотрела на жизнь с радостью и оптимизмом, благодаря чему
и получила работу в этой школе, ученики которой не происходили
из благополучных, обеспеченных гонконгских семей.
Именно мисс Синди
дала ему его английское имя под благосклонным взглядом Иисуса Христа
с изображения над доской.
Другие были — Барри, Питер, Тони, Дэвид, Кристофер.

Но он был Джошуа.

Джошуа.

Он произнес это имя вслух и ощутил на языке приятную тяжесть.

После урока он задержался, снедаемый любопытством, и стоял, раскачиваясь на цыпочках, пока она не заметила его и не подозвала к себе. Мисс, кто такой Джошуа, хотел он знать. Что означает это имя?

А, просияла она. Она была из тех учителей, кто считал учеников, задающих дополнительные вопросы, своим достижением. Наградой за труды. Давай-ка посмотрим.

Их школа была не из лучших. Библиотека едва ли заслуживала называться библиотекой: длинная скамейка и семь книжных полок в комнате с одним окном; но Библия там, разумеется, была. Она села рядом с ним и прочла ему всю историю, стих за стихом. Так вот, это ты, сказала она. Джошуа ³. Он привел израильтян в Землю обетованную. Он был воином. Вождем. Он и его народ маршировали шесть дней, а на седьмой разрушили стену Иерихона.

Я Джошуа, спросил он, ошеломленно глядя на том Священного Писания, лежащий перед ним. Да, довольно сказала она. Это ты.

Мисс. Он поднял вдохновенный взгляд. Все эти книги. Можно взять их домой?



Чтобы вырезать фотографии, он взял ножницы, которыми его мать резала нитки и куски ткани или подстригала ему волосы, когда они становились слишком длинными для школы. Конечно, ему приходилось соблюдать осторожность:

³ Иисус Навин – библейский персонаж, предводитель еврейского народа, преемник Моисея. В англоязычном написании – Joshua (Джошуа).

он делал это поздно ночью, под одеялом с фонариком.
В основном это были исторические книги, с фотографиями
или очень подробными описаниями. Было ли небо в тот день серым? Валил ли дым
из печных труб? Экипажи. Ржание лошадей
и стук ботинок по мостовым. Запах чая,
который разливали по крошечным чашкам. Звуки стрельбы со всех сторон.
Небо разверзается, и бомбы
летят вниз оранжевыми, красными, черными обломками.

Он знал, что у мисс Синди могут быть проблемы,
потому что она разрешила ему взять книги домой,
не зная, что он порежет их ножницами матери.
Но никто не понимает, думал он.
То, что он делает, важно и стоит любых жертв.

Через некоторое время,
когда стену в его части спальни заполнили тексты и фотографии,
сестра стала задавать вопросы.
Мир, сказал он, намного больше Коулуна.
Я хочу увидеть его весь.



Он всегда знал,
что умнее своих друзей. Но начал понимать, что
такому, как он,
учитывая, где он рос и к какому кругу принадлежал,
не пристало говорить: «Я хочу все».

Со временем он понял, что добьется большего,
если будет работать с удвоенной силой.
И если будет хитрее, когда о чем-то просит,
чтобы не напугать «их»
или не прослыть выскочкой.
Обычно мальчики из Коулуна не отличаются сообразительностью,
как-то сказал ему учитель, особо отметив его во время лекции.
Но учителя говорят, что ты особенный.
Это был приглашенный преподаватель, каких иногда звали в школу, чтобы «вдохновить
молодежь»,
состоятельный, дорого одетый мужчина,
свободно говоривший на идеальном английском.

Джошуа собрал всю волю в кулак,
чтобы промолчать.

Его глаза устремились на мисс Синди, которая стояла у окна,
пока мужчина молот языком.
Она нахмурила брови, поджала губы. Сэр, начала она,
но мужчина уже забыл о своих словах и продолжил лекцию так,
будто то, кем был или не был Джошуа,
заслуживало не больше внимания,
чем муха на подоконнике.

После урока мисс Синди попросила Джошуа задержаться.
Посмотрела на него горящими глазами и сказала:
Джошуа, после уроков принеси свои книги ко мне в кабинет.
Если хочешь, я помогу тебе всем, чем смогу. Ты хочешь?

Да, сказал он.
Хочу.



Он вел черный блокнот, в котором записывал
каждое колебание, каждое путешествие, каждый случай, когда где-то слишком задержи-
вался

и возвращался, запыхавшись, с колотящимся сердцем, которое отбивало в груди: бум,
бум, бум.

Делая записи, он подражал текстам, которые встречал в научных книгах по истории, мате-
матике:

купить их он не мог, но подолгу изучал их в школьной библиотеке и книжных магазинах.

Потом он по памяти зарисовывал диаграммы и рисунки, которые в них встречал.

И числа — часы, даты, эпохи —

и те, что он мог посетить, и те, что нет,

пока они не разрастались и не выстраивались в единую шкалу.

Иногда, ранним утром,

вернувшись из очередного путешествия, спокойный и удовлетворенный,

он позволял себе мечтать, как покажет свой блокнот мисс Синди.

Он представлял выражение ее лица, когда она узнает правду.

Думал о местах и временах Гонконга, которые мог бы ей показать.

И обо всех возможностях, которые постепенно открывались перед ним:

такой сладкий, сочный,

спелый плод.



Примерно в то время, когда ему исполнилось тринадцать,
все в школе узнали, что у мисс Синди
есть молодой человек. Слухи поползли, когда однажды вечером
кто-то увидел, как он забирает ее из школы.

Это был белый темноволосый американец, с которым она познакомилась, когда училась
за границей.

Однажды, как обычно придя к ней заниматься после уроков,
он заметил на ее безымянном пальце крошечное кольцо с бриллиантом и все понял.

Я хотел вам кое-что сказать, сказал он.
Но теперь это неважно.
Неважно?

Она отложила карандаш.
Изучающе посмотрела на него, и ее лицо изменилось, будто она была готова заплакать.
Он не выносил, когда кто-то плакал из-за него.
Он всегда этого не выносил.

Он уставился в учебник.
Слова и цифры начали угрожающе расплываться перед глазами.
Вы скоро уйдете, сказал он.
Она не стала спорить.
Но все поняла.
Он был прав, и оба это знали.
Джошуа.
Ему показалось, что она произнесла его имя так,
словно оно принадлежит ей.
И в каком-то смысле он считал, что так оно и есть.

Прежде чем я уйду, сказала она,
я хочу тебе кое-что подарить.

Подарить?

Школу. В другом районе.
Будущее.
Если ты этого хочешь.
Но тебе придется очень много работать.
Больше, чем когда-либо.

У него тут же вырвалось:

хочу.
Я хочу все.



Ранним субботним утром он стоял
в зале вылета. На горизонте виднелась тонкая розовая линия.
Ему было всего четырнадцать,
но, в третий раз наблюдая, как один и тот же самолет
взмывает в небо, он сказал себе
«хватит», и с этим было покончено.
На этом все. Глава закрыта. Навсегда.

Он всегда умел
оставлять прошлое в прошлом, там, где ему и место, —
в осколках, фрагментах.

Год спустя.
В новой форме, с новой стрижкой,
он вошел в новое здание в новом районе.
Здание состояло из классов, где пахло старыми книгами и чернилами,
и коридоров, которые пересекались и расходились в стороны,
напоминая ему о родном Коулуне.

На стенах висели таблички, дипломы, награды,
портреты людей, которые с серьезным видом смотрели в камеру,
ему в глаза, будто они хранители
глубокой, священной тайны, которую ему познать не суждено.

Так же на него поначалу смотрели и одноклассники.
Одноклассники как из Гонконга, так и из-за границы,
которые приезжали в школу
на дорогих машинах с водителями
и носили учебники в дизайнерских сумках.
А потом в их взглядах появилось нечто другое, чему он не мог дать название.
Настороженность? Презрение? Восхищение?
Кто он? Редкий зверь, сбежавший из зоопарка
и теперь разгуливающий на свободе по мегаполису?
Предмет исследования? Объект насмешек? Персонаж фильма?

Жалость, покровительство, восхваление
со стороны людей, мнивших себя
его друзьями, благодетелями, помощниками,
встревоженными девушками, которые хотели целовать его

в темных углах и хвастать им перед семьей и друзьями,
будто он был воплощением всего,
чем они жаждали быть в новом, прогрессивном мире.

Ты изменился, однажды сказала ему сестра.
Отец испытующе посмотрел на него.
(Презрение? Зависть? Гнев? Или просто
смутная, холодная отстраненность по отношению к тому,
кого он уже не понимал и не любил?)
Мать стала класть ему больше еды за столом.
Он был слишком молод, чтобы понять, что это значит,
но вместе с тем достаточно молод, чтобы понять,
что это, возможно, не значит ничего.
Это было всего лишь
расставание.
Прямо как когда он закрывал глаза
и чувствовал, как его тело отделяется
от времени, от места.

Но еще была математика.
Математика имела значение.
Математика и черный блокнот,
от корки до корки исписанный тем, что в его понимании
составляло всю его жизнь.

Ева

Октябрь 2005

Ева видит цветные сны.
Оранжевый свет.
Лилово-розовое небо.
Бурая осенняя листва, опадающая с деревьев.
Темно-красная полоса на горизонте.

Она слышит голос матери — шепот, такой тихий, что слов не разобрать.
Но она безошибочно его узнает. А с ним приходят и воспоминания о том, что было, кажется, в другой жизни — жизни, где присутствие матери казалось естественным, как воздух.

Ева ничего не может сделать; время не повернуть вспять и не изменить. Но она не в силах противостоять соблазну закрыть глаза и уплыть прочь.

Она оказывается возле их дома, много лет назад, и видит себя в детстве: вот она появляется в дверях, а сразу за ней — Томми.

Затем — мать. Затем — отец, крутящий на пальце ключи от машины.

Стоит осень, до Рождества всего пара месяцев, и она помнит, с каким восторгом развешивала электрические гирлянды. Но, как бы ни старалась, она не может вспомнить, куда они собирались в тот вечер. В кино? В торговый центр? Поужинать?

Она видит, как они вчетвером садятся в машину. Отец заводит двигатель и выезжает на дорогу, с непроницаемым лицом глядя в зеркало заднего вида.

Она стоит и смотрит, пока машина не исчезает из виду, спеша навстречу вечеру, который казался Еве таким обычным тогда и таким волшебным — сейчас.



Вернувшись в настоящее, Ева берет новый альбом и угольный карандаш и уютно устраивается в постели.

Линия за линией: ни одной прямой, все — и толстые, и тонкие — изогнутые, яркие. Сначала — очертания лиц. Затем — глаза, носы, рты, волосы. И вот на нее уже смотрят родители. Это уже что-то. Или ничего. Хоть что-нибудь.

Она лепит рисунки на стену к остальным и смотрит на них, пока не засыпает.

Ей снова снятся сны, но на этот раз она, по крайней мере, знает, что ее ожидает при пробуждении.



На следующий вечер Ева возвращается из школы и обнаруживает в спальне пустые стены. Все портреты исчезли.

В гневе, со слезами на глазах она идет к бабушке.

— Это ничего не изменит, — говорит Ева. — Не помешает мне возвращаться в прошлое.

— Это для твоего же блага, — говорит Кэрл. — Вы с братом играете с огнем. Участь родителей должна была научить вас хотя бы этому. Им не следовало вас поощрять. Однажды вы поймете и будете благодарны за то, что я пытаюсь сделать.

— Нет! Никогда!

Голос Кэрл звучит резко, как удар хлыста:

— Хватит ныть, Ева! Ты уже не ребенок. Научись вести себя прилично. А теперь вытри слезы. Приведи себя в порядок. Через десять минут ужин.

В тот вечер Ева плачет, пока не засыпает.

Даже когда Томми стучится к ней, пытаясь узнать, что случилось, она не отвечает.

Ей снится прошлое: они всей семьей на пляже на следующий день после знакомства с Брюсом Ли. Она чувствует солнце на коже и вкус соли на языке. Помнит тепло улыбки матери. Даже молчание отца сейчас кажется почти мирным.

Когда она просыпается, в открытое окно льется солнечный свет. Она ищет глазами знакомые лица, которые привыкла видеть каждое утро, — бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек и, самое главное, родителей, — но их, конечно, больше нет.

Грифон, которого она нарисовала цветными карандашами, словно подмигивает ей: ведь это все одна большая шутка, так?



Через два дня после ссоры с бабушкой Ева лежит в постели, глядя, как луна выплывает из-за облаков, а потом закрывает глаза.

Она говорит себе, что пусть рисунки и пропали, но это лишь рисунки. Она всегда может нарисовать новые. Всегда может найти их снова. Да. Вот так.

Кто-то зовет ее по имени. Она четко слышит:

«Ева. Ева, я здесь. Иди ко мне, Ева».

Голос звучит ласково.

И, дотронувшись языком до нёба, она чувствует вкус этого воспоминания.

Томми и Пегги

1927–1936

Томми хочется сказать отцу, что теперь ему легче путешествовать. Почему-то стало легче. Помнишь, раньше я не мог без фотографий? Тебе приходилось заставлять меня часами изучать и запоминать мельчайшие детали. А сейчас я могу просто закрыть глаза и поймать это ощущение. Тебя бы поразили все «как» и «почему»; это был бы настоящий эксперимент. Ты бы делал записи и задавал мне вопросы, на которые я не мог бы ответить, но, по крайней мере, я бы слышал твой голос.



Когда Томми впервые увидел Пегги Ли,
ему было девять лет.
Оба полагали, что она его ровесница,
хотя она была значительно меньше
и ростом ему по плечо.
Фотография, которую он использовал в этом путешествии,
нашлась среди бумаг отца,
в папке с пометкой «Англия, 1920–1940-е».
На ней была изображена китайско-американская актриса Анна Мэй Вонг на улице Лайм-хаус-Козуэй в восточном Лондоне.
Конечно, выбирая фотографию, он этого не знал;
ему просто понравилась ее улыбка, и он подумал, что так, наверное, выглядела в молодости его прабабушка,
о которой отец рассказывал больше, чем о своих родителях.

Он открыл глаза; стоял серый, пасмурный день,
в воздухе висел смог, исходивший, как он узнал позже, от фабрик у доков. Он стоял посреди дороги.

Он не мог рассмотреть свои руки, даже поднеся их к лицу, и не видел собственное тело, когда смотрел вниз: один сплошной бетон.

Здания в Козуэй плотно примыкали друг к другу — квартиры, лавки, пабы, рестораны, пансионаты.

Указателей на английском нигде не было — только знакомые и в то же время непривычные китайские иероглифы, которых он не понимал.

Вдали послышался гудок корабля.

Потом еще, а затем вдалеке раздался грохот.

Мать дала ему
подходящую одежду
— застегнутая на все пуговицы рубашка с воротником,
бриджи чуть ниже колена и толстые шерстяные носки, —
и, почувствовав, как дождь стучит по коже, он тут же подумал о ней.
Она не любит, когда у нас промокает одежда.
Ей бы это не понравилось. Совсем не понравилось.

Он попытался вспомнить твердый, спокойный голос отца:
осмотрись и вспомни все, что изучал.
Найди место, где можно спрятаться, прежде чем материализуешься.
Не торопись. Спешка ни к чему.

Но тут, когда кончики его пальцев начали медленно проявляться,
мимо пробежали трое юных китайцев,
склонив голову, прячась от дождя.
Услышав стук их коричневых рабочих ботинок,
он почувствовал себя маленьким как никогда —
даже меньше, чем в тот раз, когда Деннис МакКензи
назвал его китаёзой при одноклассниках, а он сделал вид,
что ему так же смешно, как и остальным.

Один из китайцев обернулся, посмотрел прямо сквозь него и практически застыл на
месте. Наверное, я похож на привидение,
подумал Томми,
когда юноша опомнился и побежал своей дорогой.
Мимо промчался грузовик, обрызгав его водой.
Вдали снова послышался оглушительный грохот.

Он задрожал всем телом. Это что у него на лице, слезы?
Или просто дождь?
Не торопись. Спешка ни к чему.

Краем глаза он заметил справа небольшой переулок. Перед глазами все плыло, дыхание
участилось, будто за ним кто-то гнался.

Голоса в голове с каждым шагом
становились все громче. Это безопасно?
А вдруг меня кто-то увидит? Куда идти? Что делать? Как выжить?
Не торопись. Спешка ни к чему.

Иди. Иди. Шаг в сторону.
Беги. Прячься. Пригнись. Теперь — в переулок.
Маленький уголок, куда дождю не добраться.
Подошвы омывал грязный поток воды.
Кирпичные стены вокруг как будто сочились коричневым и красным.
Помимо дождя, он слышал только стук сердца в груди, будто оно отчаянно пыталось
выбраться наружу.
Он упал на колени.
Дрожа, закрыл лицо руками.
Значит, это был не просто дождь.

Не торопись. Спешка ни к чему.
Целую вечность он сидел и смотрел себе на руки,
на поток грязной воды под ногами.

Потом он услышал звук приближающихся шагов.
Заметил движение.

И вот в этом грязном потоке
он увидел еще одну пару мальчишечьих рабочих ботинок.

Голос, отчетливый и полный любопытства:
я думала, что знаю всех китайских мальчиков в Козуэе,
даже с Нанкин-стрит, но тебя вижу впервые.
Откуда ты взялся?

Он поднял взгляд и увидел ее:
коротко остриженные волосы едва прикрывают уши,
хрупкая фигурка укутана в зимнюю куртку, которая на пару размеров ей велика.
Маленькая девочка.

Она сердито вздохнула.
Он понял, что ничего не ответил.
Ну, нетерпеливо повторила она. Кто ты? Ты потерялся?

Да, услышал он собственный голос.
Да, кажется, я совсем потерялся.

Она посмотрела на него,
и ее взгляд смягчился.
Пойдем, сказала она. Тебе нужно в тепло.

Кожу напивал жар от плиты ее отца.
Взглянув на часы на кухонной стене, он обнаружил, что уже середина дня.
В кафе было холодно и пусто, деревянные столы и стулья расставлены вдоль стен.

Какой сегодня день, спросил он. Воскресенье, ответила она.
Разожгла угли и усадила его за обеденный стол.
Она принялась болтать без умолку. Мой отец спит наверху, сказала она.
Это он храпит. Мы с ним живем вдвоем.
Мать бросила нас, когда я была совсем маленькой.
У тебя тоже нет матери? Поэтому ты потерялся?
Хочешь чаю? *Маньтоу*? Или могу разогреть бульон. А еще у нас есть хлеб.
Как тебя зовут? Кто ты? Откуда?

И снова голос отца: помни. Никогда никому не рассказывай, кто ты.
И он ответил: из Лондона. Но не могу сказать, откуда именно.



Второй раз они встречаются, когда ему двенадцать.
Оба думают, что они примерно одного возраста, плюс-минус год или два.
Они встречаются после того, как случилось Это. Примерно месяц спустя, незадолго до Рождества, когда он лежит в постели среди ночи, пытаясь забыть этот ноябрь.

У него в голове
всплывает образ девочки
на маленькой кухне в серый дождливый день.
По венам пробегает приятное тепло.
Он закрывает глаза
и загадывает желание.

Открыв глаза,
понимает, что он в том же переулке, рядом с кафе ее отца,
но это уже другой дождь. Другой день.

Через несколько минут она появляется позади и останавливается.
Мы знакомы, спрашивает она. На ней зимняя куртка,
которая велика ей на пару размеров. Он обнаруживает, что улыбается впервые за долгое,
долгое время.
Я думал, ты мне приснилась, говорит он.



Годы спустя, всякий раз, когда Пегги думала о Томми,
в ее голове возникали слова: красивый. Смешной. Обаятельный.
Одиноким. Сиротливый. Потерянный.
Иногда он смотрел на нее так,
будто она вот-вот разлетится на осколки у него в руках,
и ей становилось грустно.

Годы спустя, всякий раз, когда Томми думал о Пегги,
в его голове возникали слова:
красивая. Непредсказуемая. Болтливая.
Решительная. Мечтательная. Смешная.
Веселая. Упорная. Неистовая. Теплая.
Милая. С изящными руками и плавными жестами.

Но есть некая стальная твердость в том,
как она смотрит на него, на отца, на клиентов отца —
да, в общем, на всех.



С тех пор как Это произошло,
по ночам Томми закрывает глаза и оказывается в переулке напротив кафе ее отца гораздо
чаще, чем следует.

Дети в школе избегают его или замирают в его присутствии,
не зная, что сказать, будто каждый слог может вывести его из равновесия.
Так что это ему приходится их успокаивать, убеждая, что да,
можно делать вид, что ничего не произошло, и вести себя как обычно.
Это ему приходится позволять им быть рядом с ним живыми.

Но с ней... с ней он может вообще не говорить, если не хочет.
Она говорит за двоих.
И она с этим уже сталкивалась. Прежде.

Моя мать — Анна Мэй Вонг,
отвечает она всем, кто спрашивает, где ее мать.
У них с отцом был роман, когда она приезжала на съемки «Лаймхаус Блюз».
Вот почему ее никогда нет дома. Она в Голливуде, снимается в кино.
А иногда она говорит: моя мать в Китае.
Она самая желанная женщина в Азии, так что она не может пересечь океан и поселиться
в восточном Лондоне.

Она бы просто свела с ума всех английских мужчин.
Или: моя мать — белая женщина,
герцогиня, которая живет в замке с королем Англии.
Или: моя мать — французская балерина, которая танцует по всей Европе, с розовыми
лентами в длинных золотистых волосах.

Он слушает ее истории об отце,
старике, которого она очень любит
и всю жизнь которого составляет готовка и преклонение перед дочерью.
Она мечтает купить им с отцом большой дом у моря.
Она говорит: у нас будет самая большая кухня во всей Англии,
чтобы он готовил сколько пожелает, а я бы писала
и содержала нас обоих. Мы больше никогда
не будем бедными. И никто не будет снова спрашивать,
кто моя мать.

От того, как она об этом говорит, твердо сжав губы, с вызовом и гордостью в глазах, ему
становится стыдно.

Он думает: она знает, кто она. И чего хочет.
Она планирует прогнать мир под себя.

А он?

Все его желания (в основном касающиеся ее)
кажутся ужасно детскими и ничтожными по сравнению с ее —
одни постыдные тайны, о которых он не осмеливается говорить вслух.
Так что он сидит в кафе, пока она суетится,
разнося чашки чая и подносы с *маньтоу* и жареными пельменями,
которые выдает ей отец на кухне, клиентам, толпящимся у входа.
В основном это китайские работники доков,
которые спешно поглощают еду и уходят,
оставив в пепельнице два-три окурка.
Иногда приходят торговцы или бизнесмены в дорогих костюмах,
которые медленно потягивают напитки, проглядывая сегодняшние газеты.

Летними вечерами, когда дети играют на улицах,
а туман над рекой такой легкий, что можно сосчитать корабли в доках у причала,
он идет с ней к берегу Темзы.

Она говорит и говорит обо всем, что происходит в ее жизни,
и он думает, что может провести остаток жизни, просто стоя рядом и слушая.

А в другие вечера он лежит, растянувшись на ее кровати,
и учится курить, а она сидит на подоконнике и пишет что-то в блокноте,
таком старом и истрепанном, что страницы распадаются на части.

Сосредоточившись и погрузившись в мир собственных слов, она слегка высовывает язык,
и этот вид его успокаивает.

Он почти не может повлиять на то, в каком году ее увидит: он просто закрывает глаза.

А на правом плече у него постоянно сидит история,
нашептывая мрачные предостережения голосом отца.

Они сближаются, отдаляются
и снова сближаются

в таком хаотичном ритме, что он знает: однажды
она задаст *тот самый вопрос*, и все
раскроется. Как говорила ему бабушка:
с этим нужно покончить.

Но как покончить,
если все, чего он хочет, —
это всегда быть с ней?



Она задает *вопросы*
в незначительные,
не связанные между собой моменты:
они как кусочки пазла,
разбросанные по кофейному столику.

Оба начинают замечать
друг у друга в глазах
то, чего еще не знают сами.

Несколько раз
она видит его более молодым, чем раньше.
А потом — снова на несколько лет старше.
Она осторожно проводит пальцем
по его колючему подбородку.
В каждой черточке ее лица
читается страх,
и он понимает:
она спросит. Не может не спросить.
(Первый вопрос.)

Ты никогда не показываешь мне то, что пишешь, говорит он однажды вечером, выдыхая
дым в окно ее комнаты.

Она отрывается от страницы
и подавленно смотрит на него.
Что, смущенно спрашивает он.
Я читала тебе свои стихи, говорит она. Ты сказал, что тебе понравилось.
Ты не помнишь?

(Второй вопрос.)
Она обнаруживает его в переулке,
и на ней впервые пальто по размеру,
женские сапоги на каблуках, черные и блестящие,
волосы до плеч аккуратно завиты,
на губах кроваво-красная помада; рядом с ней
он чувствует себя маленьким мальчиком.
Красивое пальто, бормочет он. Новое?
Она хмурится. Ты его уже видел, говорит она.
И перчатки. И эту помаду.
Ты не помнишь?

(Третий вопрос.)
В шестнадцать лет
он впервые ее целует.
Они лежат рядом на ее кровати,
глядя, как свет луны
и уличных фонарей танцуют на потолке.
Оторвавшись от нее, он улыбается.
Всегда хотел узнать, каково это.
Но у нее из глаз каплют слезы, и он понимает.
Он говорит: мы уже целовались, да?
Кивнув, она отвечает: у реки,
под летним дождем.
Ты не помнишь?

(Четвертый вопрос.)

Еще раз спрашиваю, говорит она.
Откуда ты взялся?
И он понимает: откладывать больше нельзя.
Если он соврет, она поймет, и он ее потеряет.
Он мало что знает, но это он знает точно.

Так что он рассказывает
и показывает:
когда сквозь занавески пробиваются первые лучи солнца,
он закрывает глаза и медленно растворяется в воздухе,
как привидение, которое она видела в кинотеатре.
Она едва сдерживает крик.
Он продолжает рассказ
у воды, пока проплывающий мимо корабль
поднимает паруса.

Я не вижу в этом ничего плохого, настаивает он.
В каком-то смысле это даже к лучшему. Я могу тебе помочь.
Могу помочь твоему отцу. Не забывай, я кое-что знаю...
о том, что произойдет в будущем.
Она пытается улыбнуться. И позволяет поцеловать себя
губами, с которых слетают обещания.
Ей всего пятнадцать,
и она еще верит обещаниям.

(Пятый вопрос.)
Она просит рассказать ей все:
что случилось с твоими родителями?
И, лежа с ней в постели,
он рассказывает,
чувствуя благодарность за эту ночь и за то,
как она гладит его по руке.

В наступившей тишине
она говорит, что понимает.
Это не одно и то же, говорит она,
но я знаю, каково это, когда того,
кто всегда должен быть рядом, нет.
Вопрос
слетает с его губ,
прежде чем он успевает сдержаться:
а ты всегда будешь рядом?

Да, говорит она.
И в тот момент
это слово кажется
таким же простым и искренним,
как его жест:
он берет ее руку,

все еще обвитуя вокруг его руки,
и подносит к губам.

Я тоже всегда буду рядом, говорит он.

Однажды,
когда ему семнадцать,
она просто оборачивается.
Останавливает его одним взглядом.

Я всегда скучаю, когда ты уходишь,
признается она.

Позже он медленно растворяется,
держа ее за руку.
Последнее, что он видит
перед погружением в темноту, —
тепло ее улыбки.
Он никогда не говорит «люблю» и даже не помышляет об этом.
Это слово кажется ему
слишком грубым, слишком пошлым,
неспособным передать
все, что она для него значит.

Между ними нет договоренностей, нет обязательств;
да и как они могут быть?

Но он думает:
возможно,
так все и должно быть.
Возможно,
все это было ради нее.

Джошуа

1987

«Принимая во внимание благополучие и стабильность всего Гонконга, мы с пониманием относимся к решению британского правительства Гонконга снести город-крепость Коулун и разбить на его месте парк. Коулун, как и некоторые прочие части Гонконга, представляет собой пережиток прошлого».

*Министерство иностранных дел Китая
(Январь 1987 г.)*



Люди меняются: они уходят или предают. Это одна из очень немногих постоянных вещей в нашем мире. Джошуа, выросший в Коулуне, понял это очень рано. Вот только он никогда не думал, что измениться может сам мир. Что он будет перекроен, разрушен, разорван на части одним-единственным постановлением, прочитанным в новостях или на листовке, прилепленной ко входной двери.

Миром были эти темные коридоры. Все эти крошечные квартиры. Лестницы, которые вели куда угодно и одновременно в никуда. Почти крошечная темнота. Капающая с потолка вода. Но прежде всего — люди.

Кто-то рисовал протестные плакаты и присоединялся к демонстрациям. Кто-то швырял предметы в представителей власти, которые вели перепись населения. А бабушка Джошуа, услышав новости от его отца, опустилась в кресло, закрыла глаза и долго-долго сидела без движения. Джошуа впервые видел, как отец взял пожилую женщину за руку.

Куда мы пойдем, спросила его сестра.

Куда нам скажут, ответил отец.

Бабушка открыла глаза. Посмотрела на старшего сына и сказала:
здесь мой дом. Я никуда не уйду.



Восемнадцать.

Школьный методист прямо в лицо назвала его
перспективным,
одаренным.

Британские университеты, сказала она,
будут драться за тебя.
Стипендии. Гранты.
Все что душе угодно.
Ты этого хочешь?
Это была не мисс Синди,
так что он произнес отрепетированную в совершенстве фразу:
я очень благодарен за эту возможность.

Когда он сказал бабушке, по ее щекам потекли слезы.
Мы больше не увидимся, сказала она.

Конечно, увидимся, потрясенно сказал он. Бабушка, я же буду приезжать.

Возможно, мой милый мальчик, но, боюсь, когда ты приедешь, меня здесь уже не будет.
Она взяла его за руки.
Но, думаю, ты увидишь меня иначе.
Так же, как видел дедушку.
Сердце резко ухнуло вниз.
Он никогда такого не испытывал.
Не думал, что так бывает.
Он спросил: мне не ехать?



Ты никуда не поедешь,
сказал отец, сидя в белой майке с сигаретой за обеденным столом.
Мать суетилась вокруг, наливая ему чай, оттирая кусочки риса, брызги чили с брошюр,
разложенных перед ним.

Ты нужен здесь.
Здесь, фыркнул Джошуа, не веря своим ушам.
Зачем?
А как же ресторан, сказал отец, хотя все понимали, что он имел в виду *выселение*.
Кто позаботится о бабушке?
Кто позаботится о твоей матери, когда нас всех выгонят из домов?

Ты, хотелось сказать Джошуа.

Но это слово застряло у него в горле,
как и многие другие слова в присутствии отца.
На короткий миг
предстоящий снос Коулуна представился ему
гигантским кулаком,
разбивающим стены и бетонные плиты:

осколки стекла разлетаются и врезаются ему в кожу,
а гостиная бабушки превращается в пыльную пустыню.
Он сам не знал, что чувствует.
Удовольствие? Или боль?

Сестра взглянула на него из угла комнаты
со смесью жалости и отвращения.

Эта школа, эти люди, сказал отец,
страхивая пепел указательным пальцем.
Они сделали тебя эгоистом.
Вложили в голову идиотские мысли.
Ну вот. Ты довел мать до слез.



Бабушка дрожащими пальцами отерла слезы.
Нет, сказала она, качая головой. Тебе нужно ехать.
Так суждено.



Сверху Гонконг на закате выглядел иначе.
Почти красивым.
Небо стало кроваво-красным. Затем оранжевым.
Позади курлыкали в клетках голуби,
хлопая крыльями в умиротворяющем ритме, будто разговаривая. Затерянные в своем
собственном мирке. Он сел на бордюр и подумал:
скоро все это останется позади.
Он поднес к губам сигарету отца (которую стащил в порыве беспечности).
Втянул дым. Выдохнул, наблюдая, как столбик дыма устремляется к облакам, проплыва-
ющим перед ним
так близко, что он почти мог протянуть руку и коснуться их.

Она вложила ему в руку
нефритового Будду
размером с наперсток.
Его прохладное прикосновение к коже
ощущалось как молитва.

Это на удачу, сказала бабушка.
Чтобы тебе не было одиноко,
когда будешь один.

В жизни каждого наступает момент,
когда кажется, что почва уходит из-под ног
и ты летишь вниз.
Это как бомба с часовым механизмом:
ты почти можешь отсчитать секунды
до того, как это произойдет: три, два, один...
Бум.

Джошуа докурил сигарету,
глядя, как Гонконг погружается в темноту.
Он сидел и смотрел на город,
пока не взошли все звезды.

Томми и Ева

Ноябрь 2005

Тишина стала врагом Томми.

Едва она наступает, его жизнь начинает рушиться — еще сильнее, чем обычно. Она наступает, стоит ему застыть на месте, замереть слишком надолго. Сколько бы он ни говорил себе, что оправился от всего, от чего должен был.

Так что он занимает себя — путешествиями в прошлое к Пегги, видеоиграми, старыми друзьями по футболу, которые не задают вопросов. Которые делают вид, что перед ними тот же Томми, что и прежде. Они сидят в парках, пряча в карманах сигареты и банки пива. Смеются. Толкаются и подкалывают друг друга. Гоняются друг за другом по городу — дикие и необузданные; дети, которые считают себя почти взрослыми.

Ему легче, когда не нужно говорить об *этом*. Легче, когда вокруг что-то происходит, когда пустые развлечения тянут его в разные стороны. Глоток чего-нибудь крепкого, притупляющий чувства. Крик. Поцелуй. Упоение от того, что ничего не чувствуешь. Восхитительно. Эта пустота.

Но в спокойные часы перед сном приходит тишина. Оставшись один, он слышит, как мысли мечутся у него в голове, подобно птице, запертой в комнате.

Рядом с ним сидит отец. Он знает, что это воспоминание.

Но воспоминание не бывает лишь воспоминанием.

«Выпрямись, Томми», — говорит Джошуа, уставившись в телефон и даже не глядя на сына. Они в «Вонг Кей», знаменитом ресторане в Чайна-тауне, перед ними стоят тарелки с рисом и свиной барбекю. Томми сидит, уставившись на еду, и не может заставить себя поесть.

А вот они в кабинете отца в университете. Джошуа сидит за своим столом и пишет, пишет. Иногда он поднимает трубку — и говорит, говорит. Иногда кто-то заходит — студент, коллега, друг, кто-то еще. Томми сидит, уставившись в выданную ему книгу, и не может разобрать слов.

А вот они идут вдоль реки, Джошуа шагает широкими, уверенными шагами, а Томми идет опустив глаза и почти вприпрыжку, чтобы поспевать за ним. Отец говорит матери, хотя Томми идет рядом: «Почему мой сын такой молчаливый, а? Он вообще не разговаривает».

Томми дрожит всем телом. «Мужчины не должны молчать, — говорит ему отец. — Ты должен высказываться. Не позволяй другим оттаптываться на тебе. Чего ты боишься? Чего ты все время боишься?»



Постучавшись к сестре, Томми обнаруживает такую картину:

Ева лежит на полу, разметав волосы по сторонам. Рядом стоит проигрыватель. Проигрыватель отца. Видимо, она принесла его с чердака. Меломаном Джошуа точно не был; в его

коллекции всего несколько альбомов музыкантов, которых он любил и уважал. Но он слушал их так часто, что некоторые пластинки заедало от износа и повреждений. Эти мелодии Томми и Ева узнали бы и во сне.

Некоторое время Томми стоит в дверях. Дает музыке, которую слушает сестра, проникнуть ему под кожу и пробудить воспоминания детства. Но лишь ненадолго.

Поет Тереза Тенг, тайваньская эстрадная певица, которая прославилась, когда родители Томми и Евы были подростками. Именно ее они всегда слушали, когда ехали всей семьей в машине. Как мягко, грустно и сладко она поет.

*Всего один нежный поцелуй
Может растопить мое сердце.
С тех пор как наша любовь окрепла,
Я тоскую по тебе...*

Ева шевелит губами, подпевая песне на мандаринском. Затем, заметив его, она приподнимается на локте.

— Я кое над чем работаю, — говорит она. — Видишь?

Она показывает ему лист бумаги, лежащий рядом. Это портрет молодой женщины с короткими темными волосами. Она в легком пиджаке и шарфе сидит в кафе с чашкой чая и книгой. По небоскрегам за спиной женщины безошибочно угадывается Гонконг. За окном моросит дождь.

Томми садится рядом с сестрой.

— Кто это?

— Ты не знаешь?

Кажется, он знает. Сестра хорошо рисует, а черно-белые фотографии этой женщины он уже видел в кабинете отца. Возможно, это его мать или бабушка. Но Томми понимает, что не хочет знать, прав ли он. Так что он спрашивает:

— Ама с тобой говорила?

— Да.

— Что она тебе сказала?

— Вероятно, то же, что и тебе.

— Хватит?

— Хватит.

— И ты послушалась?

Посмотрев на него, она кивает на свой рисунок.

— Очевидно, нет.

— Когда?

— Это? — Она с шумом выдыхает. — Пять ночей назад.

Некоторое время оба молчат. Томми ложится на пол рядом с сестрой и слушает голос Терезы.

— Так вот... — тихо начинает она. — Где ты все время пропадаешь?

Он делает резкий вдох.

— Я же не спрашиваю, где *ты* пропадаешь.

— Ты *знаешь* где. В моем случае вариантов не так много.

Их взгляды снова устремляются на портрет. На женщину.

На мгновение Томми задумывается, а что, если бы он мог, как Ева, перемещаться в прошлое их родных. Ведь в одиночку он может попасть только в Лондон с 1900-го примерно до 1950 года; это всегда было так, с восьми лет, когда его способности только начали развиваться. Будь он на месте Евы, смог бы он устоять? Смог бы вести себя как она — просто наблюдать

издали, как ушедшие родственники дышат и двигаются прямо у нее на глазах, и не пытаются ничего предпринять? Ему хочется думать, что смог бы, что у него хватило бы самообладания. Но от того, как при виде портрета его внутренности завязываются в узел, ему становится страшно.

— Ну так что? — не унимается Ева.

Чувствуя, что его загнали в угол, Томми слегка морщится.

— Может, когда-нибудь расскажу, — говорит он.

Она фыркает.

— Когда?

— Когда-нибудь.

— Не вредничай. Я-то тебе все рассказываю.

— Я тебя не заставляю.

— Да, но дело не в этом. Мы должны делиться друг с другом. А ты больше не делишься.

Песня сменяется. Томми чувствует на себе взгляд сестры.

*Слаще меда,
Твоя улыбка слаще меда.
Как первые цветы
На весеннем ветру.*

— Ты бы хотел? — спрашивает Ева.

Он сразу понимает, о чем она.

— Пойти с тобой?

— Да. Можно туда, где я была вчера: в день их знакомства. Я сидела через дорогу и смотрела, как они смотрят на салют.

У него перехватывает дыхание.

— Ева...

— Тебе это может помочь. Ты не говоришь о них. Даже со мной. А мне *нужно* о них говорить.

— Ева, прости.

Под ее взглядом ему хочется спрятаться, провалиться от стыда.

— Как хочешь, — резко произносит она. — Но меня ты не обманешь.

— Я не понимаю, о чем ты.

— Ты можешь врать себе и кому угодно, Томми. Но мне врать не надо.

*Где же, о где же
Я видела тебя?
Откуда так знакома
Твоя улыбка мне?*

Она шепчет:

— Я не могу остановиться. Иногда я думаю... надеюсь...

Он кивает.

— Я понимаю.

— Возможно. Я знаю, что это глупо.

— Вовсе нет.

— Что ты с ней делаешь?

— С чем?

— С надеждой.

Он поворачивается и встречается с ней взглядом.

— Игнорирую ее.

— Получается?

— В основном да.

Она спрашивает:

— Думаешь, они когда-нибудь вернутся?

— Нет.

Эти слова звучат впервые. И на какое-то время это кажется прогрессом.

Почти.

Ненадолго.

*А... в моих снах, во снах
Встречались мы с тобой.*

Джошуа

1987

Это был его первый полет.

Он много читал о полетах —
о братьях Райт, о том, как они заставили взлететь
то, что казалось лишь грудой металла.

От стоящих за этим научных изысканий его сердце взмывало вверх, а разум лихорадочно работал.

Возможность
оторваться от всего, что ты когда-либо знал, и начать сначала — с пустого голубого холста.

Человек на Луне, водружающий флаг как памятник.
Откровение.

Он крепко сжал в руке паспорт.
Свой первый паспорт.
Странное ощущение... будто этот небольшой предмет
обладал силой,
способной изменить его жизнь
навсегда.

Он сидел у выхода на посадку и ждал.
Сотрудница аэропорта объявила в громкоговоритель,
что пассажирам следует пройти на посадку, сначала на кантонском, затем на мандаринском, затем на английском.

Люди стали подниматься на ноги — белые туристы в шортах, сувенирных футболках и солнечных очках и местные в кардиганах, водолазках и легких пиджаках. Шелест откладываемых в сторону газет. Стук колес чемоданов, которые катили к очереди на посадку.

Из динамиков негромко играла
знакомая песня:

*Всего один нежный поцелуй
Может растопить мое сердце.
С тех пор как наша любовь окрепла,
Я тоскую по тебе...*

Он продолжал сидеть.
За окном он увидел самолет,
который должен был
перенести его через океаны и континенты
к новой жизни, к новому себе, и почему-то эта железная штуковина казалась ему
слишком маленькой, слишком тесной, неспособной вместить жизнь вокруг. А небо
казалось необъятным и непредсказуемым.
Оно покрывало собою весь мир,

и он под ним был всего лишь пылинкой.

Утром отец с ним не попрощался: его не было дома.

Мать тихим, напряженным голосом сообщила: отец ушел.
Ему нужно забрать доставку для ресторана.

А, понятно, ответил Джошуа так, будто это было нормально.
И ничего, что все продукты
отец всегда закупал в пределах Коулуна.

Углы всех комнат были заставлены коробками с вещами, подготовленными (настолько, насколько возможно) к переезду; ему пришлось передвинуть пару коробок, чтобы обнять мать, позволить ей расцеловать себя в щеки, поплакать у него на плече.

Мы будем ждать тебя дома, сказала она.
Будто дом был местом, куда можно просто взять и вернуться.

Его сестра Дороти собиралась уходить.
Она просто обернулась
и кивнула ему. Не помри там, сказала она.
И, едва заметно улыбнувшись и подмигнув ему,
она ушла.

Последним местом, куда он зашел, прежде чем сесть в автобус до аэропорта, была квартира бабушки. В последний год, после объявления о сносе Коулуна, ее здоровье стало стремительно ухудшаться. Его мать упаковала в коробки кое-что из ее старой одежды. Завернула в газеты тонкий фарфор.

Но многие вещи в ее квартире не менялись с самого его детства:
китайский календарь на входной двери,
обеденный стол, который много лет назад сколотил ее муж,
ее плита, ее книги, ее вышивка.

Даже бледно-желтое покрывало на диване, которое он видел каждый раз, когда приходил в гости.

Тебя ждут большие достижения, сказала она, обняв его в последний раз.
Она не плакала, лишь потрепала его по щеке и по затылку.

И ты увидишь меня снова.

Ты увидишь меня снова — он сел в автобус до аэропорта.
Ты увидишь меня снова — в паспорте поставили штамп.
Ты увидишь меня снова — пассажиры вокруг стали подниматься с мест и выстраиваться в очередь.

Ты увидишь меня снова, сказала она.
Но все будет иначе.
Теперь все будет иначе.

Он опустил руку в карман, ощутив прохладу нефритового Будды,
которого бабушка дала ему год назад. Он вспомнил отца у плиты,

стук металлической лопатки о вок. Слезы матери. Улыбку сестры.

Он чувствовал, как они ускользают от него.

Это то, чего он хотел, ведь так?

На задворках его сознания послышался тихий-тихий голос:
я могу встать и уйти. Прямо сейчас.
Поехать домой. Вернуться к прежней жизни,
к прежнему себе — это не сложнее, чем лечь на лужайку в парке и закрыть глаза.
Ведь это так просто и так естественно.

Он не мог двинуться с места,
даже услышав очередное объявление сотрудницы аэропорта.
Его переполняли все возможные эмоции.
Но двинуться с места он не мог.
Песня продолжала играть:

*Ты хочешь знать, как глубока любовь моя,
Как сильно я люблю тебя...*

Рядом с ним сел молодой китаец и сказал:
вы в Лондон? Уникальный город.

Услышав звук чужого голоса, он вздрогнул.
Уставился на него, не в силах ответить.
Незнакомец был примерно его возраста, но выше ростом.

Квадратная челюсть. Отросшие волосы, ниспадающие на глаза. Глаза, в которых читалось
дружелюбие
и какая-то неизъяснимая горечь.

Незнакомец спросил: вы готовы к дождю?
Джошуа выдавил тонкую улыбку: да. Думаю, да. А вы?
Конечно. Молодой человек говорил по-кантонски с сильным акцентом.
С западным акцентом. Он закинул ногу на ногу.
Я там родился, сказал незнакомец. Часто летаю туда-сюда. А вы впервые?
Да.
А. В университет?

Да.
Дождь вам не понравится, сказал молодой человек. Но вот остальное... О, думаю, от
остального вы будете в восторге.

Я впервые уезжаю из Гонконга, признался Джошуа.
Сказав это, он почувствовал облегчение.

О, я знаю. Незнакомец рассмеялся и поспешно добавил: то есть это заметно. Видно, что
вы немного нервничаете.

Ну, это серьезная перемена, сказал Джошуа. А перемены могут быть непредсказуемыми.
Незнакомец улыбнулся. Согласен. Разве это не прекрасно?
Джошуа хотел его расспросить

о городе, в который направлялся,
обо всем, что его там ожидало.
О том, где ему искать работу и еду, напоминающую о доме,
который он покидал.
О том, каково это — постоянно чувствовать на языке тяжесть
английского вместо кантонского.

И о том, утихнет ли когда-нибудь это чувство, разрывающее его надвое.
Но все больше пассажиров вставали на ноги, брали багаж и паспорта.
Джошуа тоже хотел встать, чувствуя, как внутри поднимается легкая паника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.